



Мишель Ловрик

Венецианский бархат

Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»

2003

УДК 821.111
ББК 84.4ВЕЛ

Ловрик М.

Венецианский бархат / М. Ловрик — Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2003

Сосия Симеон – самая известная куртизанка Венеции. Мужчины готовы заплатить любую цену, лишь бы снова очутиться в ее объятиях, но с каждым из них она встречается только один раз. Все меняется, когда она знакомится с Николо Малипьеро. Этот богатый и надменный аристократ покорила ее сердце, и теперь она пойдет на многое, лишь бы он остался с ней. А что, если о ее тайной жизни узнает весь город?

УДК 821.111
ББК 84.4ВЕЛ

© Ловрик М., 2003
© Книжный Клуб «Клуб Семейного
Досуга», 2003

Содержание

Мишель Ловрик	5
Предисловие	6
Часть первая	8
Пролог	8
Глава первая	16
Глава вторая	19
Глава третья	24
Глава четвертая	30
Глава пятая	34
Глава шестая	38
Глава седьмая	44
Часть вторая	51
Пролог	51
Глава первая	55
Глава вторая	62
Глава третья	70
Глава четвертая	75
Глава пятая	81
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Мишель Ловрик Венецианский бархат

Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства

Переведено по изданию:

Lovric M. The Floating Book / Michelle Lovric. – London: Virago Press, 2011. – 490 p.



© Michelle Lovric, 2003

© Depositphotos.com/ Singkam, Adriana Spurio, обложка, 2014

© Hemiro Ltd, издание на русском языке, 2014

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление,
2014

Предисловие

Мишель Ловрик – автор, популярный не только в Европе, но и хорошо известный отечественному читателю по романам «Книга из человеческой кожи» и «Венецианский эликсир». Необычная, завораживающая, построенная на контрастах манера повествования, чувственные метафоры, яркие характеры, захватывающий сюжет – вот отличительные черты ее произведений, в том числе и того, которое вы держите в руках.

Здесь вы снова встретитесь с любимым персонажем Мишель Ловрик, очарованию которого действительно невозможно сопротивляться, – с удивительной, таинственной, полной неги и роскоши Венецией. Роман «Венецианский бархат» застает ее в пору расцвета, в наивысшей точке ее великолепия.

В пятнадцатом веке Венецианская республика представляла собой могущественную торговую империю, царившую в Средиземном море и сосредоточившую в своих руках все связи с Ближним Востоком. Экзотические товары со всех концов известного мира стекались в нее, наполняя улицы диковинными ароматами, а кошельки ее жителей – золотыми монетами. Венецианцы вели богатую и праздную жизнь, оставаясь при этом тонкими ценителями искусств и ремесел, поэтому неудивительно, что этот город стал одним из центров европейского Возрождения.

Интерес к античным авторам, характерный для той эпохи, приобрел в Венеции особую окраску. Кажется вполне закономерным, что именно здесь в 1472 году были впервые в истории изданы типографским способом произведения Гая Валерия Катулла. Этот древнеримский поэт, живший в I веке до н. э., прославился своей пронзительной любовной лирикой, посвященной жестокой и холодной аристократке Лесбии (Клодии). Поэт, умерший от любви, действительно был достоин стать почетным гражданином Венеции.

Из разных уголков Европы сюда съезжались купцы, художники и ремесленники в надежде разбогатеть. В их числе был и немецкий печатник Венделин фон Шпейер, прибывший в Венецию в 1468 году вместе с братом Иоганном, который вскоре умер. Венделину же пришлось в полной мере испытать на себе капризный и переменчивый нрав венецианцев, столкнуться с их упрямыми тайнами, не поддающимися его прямолинейной германской логике.

Вам предстоит узнать, как Венеция едва не погубила его, а затем превознесла, оставив его имя в вечности; как он, выросший под холодным северным небом, нашел свое мучительное счастье под палящими лучами солнца; а также о том, что заставило его напечатать поэмы Катулла, которые многие его современники считали возмутительными и безнравственными.

С первых же страниц вас захватит и увлечет неповторимая атмосфера, полная ядовитых испарений, легенд о призраках, губительных страстей, но в то же время (поскольку контраст остается излюбленным приемом автора) – и всепоглощающей, самоотверженной любви, красоты и мужества. Здесь, вдоль каналов, среди туманных закоулков, бродит Сосия – «двойная женщина», куртизанка, которая, кажется, сводит мужчин с ума одним своим взглядом и наслаждается их страданиями. Здесь же, нетерпеливо выглядывая в окно, ждет своего милого золотоволосая Люссиета, еще не подозревая о том, сколько испытаний ей придется преодолеть ради своей любви. И обе они, как едва ли не все жители Венеции, повторяют про себя бессмертные строки Катулла: «Дай же тысячу сто мне поцелуев, снова тысячу дай и снова сотню...»

*...Поэт похож на перелетных птиц, Что с песней вдалеке летят,
но мир Не видит их, а слышит лишь их голоса... Так пел и я, друзья*

*мои, как дышит человек, Как скорбит птица, как вздыхает ветер
И как шепот летит над текущей водой.*
Ламартин¹. Умиравший поэт

¹ Альфонс де Ламартин (1790–1869) – знаменитый французский писатель и политический деятель. (Здесь и далее примеч. пер.)

Часть первая

Пролог

*...Ведь не отцовской рукой была введена она в дом мой, Где
ассирийских духов брачный стоял аромат. Маленький дар принесла она
дивною ночью, украдкой С лона супруга решаешь тайно похитить его.
Я же доволен и тем, что мне одному даровала День обозначить она
камнем белее других².*

Июнь, 63 г. до н. э.

Приветствую тебя, брат мой!

На какой забытой и заброшенной скале Малой Азии найдут тебя эти строки?

Как мало нам теперь известно друг о друге! Читая твоё послание, я чувствую, как ностальгия ласково обнимает меня за плечи, жажду услышать твой смех, увидеть твой укоризненный взор и не могу поверить, что твоё отсутствие вдребезги разбило нашу детскую дружбу.

Интересно, каким тебе видится наше детство, Люций? Мне оно представляется сонным и счастливым. Пожалуй, так всегда бывает с младшими братьями.

И ещё это особенно справедливо в отношении поэтов.

Не странно ли, что ты помнишь меня во младенчестве и слышал мои первые слова, тогда как для меня все это покрыто мраком?

Откровенно говоря, я завидую тому, что у тебя есть воспоминания; в отличие от меня, в твоей памяти сохраняется образ нашей матери и то, как она с обожанием смотрела на тебя. Недавно я где-то прочел, что страусиха-мать порождает жизнь в своих детенышах, всего лишь устремив любящий взор на яйца. А те из них, что были лишены ее внимания, становятся тухлыми, и из них уже никогда не выводятся цыплята. Я надеюсь избежать подобной участи, хотя наша мать умерла, когда принесла меня в этот мир, оставив твоему заботливому попечению.

Интересно, теперь ты сможешь догадаться, что стало причиной столь трогательного приступа ностальгии? Или где я сижу, когда пишу это письмо?

Да! Отец наконец-то внял моим назойливым мольбам и согласился отправить меня в Рим. На тот случай, если ты забыл, в этом месяце мне исполнилось восемнадцать. Пришло время и мне занять свое место в сердце империи.

Дорога заняла десять дней, и за все это время со мной не случилось ничего примечательного. Отец постарался сделать так, чтобы я путешествовал со всеми возможными удобствами и в самое мягкое время года, дабы ничто не угрожало моей якобы слабой груди (да-да, все тот же злосчастный и неизменный повод, чтобы отказать мне в возможности поиграть на свежем воздухе).

Подобно драгоценному камню, запечатанному в шкатулке, я прибыл в Рим в целостности и сохранности. Но стоило мне вступить в город, как мое чувство самоуважения треснуло и раскололось, подобно жуку, раздавленному ногой случайного прохожего.

У городских ворот нас заставили выйти из кареты, и мне пришлось помогать в переноске нелепых и смешных плетеных корзин с моими пожитками, после чего мы смиренно двинулись дальше пешком. И никто даже не обернулся, чтобы поприветствовать меня,

² Здесь и далее: Гай Валерий Катулл Веронский. Перевод С. В. Шервинского.

маленького владельца Сирмионе³, пока я шагал мимо величественных дворцов и замкнутых высокомерных личностей, что уничтожили мою гордость, презрительно раздавив ее большим пальцем.

В один миг лишившись всей своей претенциозности, я превратился в ничто, в жалкое и незаметное создание с постыдными тайнами. Наивность крупными каплями пота стекла с моего чела, а жилы мои вздулись и затрепетали, пока я жадно впитывал зловоние и неумолчный шум улиц под холодными, как мрамор, взглядами женщин, далеких и неприступных, словно балконы и галереи.

Мой новый дом – взятый в аренду у Марка Красса⁴ – оказался чудесной виллой, расположенной в двух шагах от синевато-багровых вод Тибра. Первым же делом я отправил обратно к отцу в Верону тех слуг, что сопровождали меня в пути из Сирмионе. Скорее всего, они были его шпионами, но, что гораздо хуже, они лицезрели мое неожиданное низвержение и превращение в полное ничтожество.

Отправив их восвояси, я поднял голову и втянул ноздрями насыщенный ароматами соленый воздух. Близилось лето, в домах состоятельных патрициев пылали костры, на которых готовились всевозможные угощения, и меня уже ждали многочисленные приглашения. Городские друзья нашего отца вознамерились проявить щедрость.

Сам Цезарь снизошел до того, чтобы оказать мне свое покровительство. Его дом я посетил одним из первых (постаравшись не глазеть слишком явно на его роскошное убранство). Он оказал мне (или, точнее, нашему *pater*⁵) честь, выступив вперед, дабы приветствовать меня, чтобы все могли видеть, что я достоин уважения. Коротко пожав мне руку, он на мгновение задержал ее в своей ладони и пристально взглянул мне в глаза, так что я зарделся и вынужден был отвести взгляд.

– Кто ты есть на самом деле? – задал он мне странный вопрос.

Теперь, узнав его получше, я понимаю, что это было совершенно в его духе. Цезарь всегда стремится проникнуть в самую суть, не обращая внимания на все наносное и эфемерное, включая молодость, приятную внешность или чувство юмора. Он не видит прекрасного в обыденных, мелких событиях, а пишет великую эпическую поэму, строя будущее по своему собственному разумению. Только представь себе его амбиции – избранный претором⁶, он стремится еще выше, – и сравни их с моими жалкими стишками!

Тем не менее ему хватило такта не рассмеяться мне в лицо, когда я заявил ему, что я – поэт и намерен достичь величия. Вместо этого он склонил голову к плечу и долго и пристально рассматривал меня. Взгляд его больших серых глаз охладил мой пыл, но, когда через несколько мгновений мне было даровано позволение удалиться, я тут же выбросил Цезаря из головы. Я присоединился к гулякам и балагурам, чтобы показать и тем и другим, чего стою.

Меня не одолевает тоска по дому (во всяком случае, такое случается очень редко). Я вошел в городскую жизнь столь же естественно, как розмарин – в поджаристую корочку свинины. Тем не менее иногда я все еще ощущаю себя чужаком. Да, я понимаю, что отныне мы все стали гражданами Рима. И не имеет никакого значения, что наши владения в Вероне

³ Сирмионе (*итал.* Sirmione) – город в итальянском регионе Ломбардия, в провинции Брешиа.

⁴ Марк Лициний Красс (115–53 гг. до н. э.) – древнеримский полководец и политический деятель, триумvir, один из богатейших людей своего времени.

⁵ Pater – отец, батюшка (*лат.*).

⁶ Претор (*лат.* praetor) – государственная должность в Древнем Риме. В период ранней римской республики (после упразднения царства) преторами именовали две высшие магистратуры – консулов и диктаторов. С 367 г. до н. э. верховное должностное лицо именовали «консулом», а термином «претор» обозначали следующую по старшинству должность, при этом его основной компетенцией стало совершение городского правосудия по гражданским делам. В отсутствие консула претору принадлежала высшая власть.

убегают за горизонт, что наша родословная уходит в глубину веков, а богатство передается из поколения в поколение. Временами я чувствую себя жалким провинциалом.

Признаюсь тебе, иногда мне по-прежнему случается совершить *faux pas*⁷, как в ту душную ночь в доме Цезаря, когда я опустил кусочек льда в свой кубок с красным вином, и шестеро других гостей, присутствующих за ужином, ушли домой неприлично рано. Ох уж эти римляне! При воспоминании об этом меня до сих пор пробивает дрожь. Имей в виду, к тому времени я уже настолько набрался, что на следующий день ничего не помнил. Когда мне рассказали об этом, я схватился за голову и застонал, потому что из-за таких вот идиотских поступков в Риме можно на всю оставшуюся жизнь обзавестись унижительным прозвищем. Меня трясло при мысли о том, что в вечности я могу остаться под именем Ледяного Человека или Прохладительного Напитка. Как бы то ни было, думаю, что именно после этого случая я всерьез взялся за рифмоплетство, намереваясь прославиться чем-нибудь куда более значимым.

Да, я все еще мечтаю о том, чтобы написать книгу. Пока, правда, я стал знаменит кое-чем иным. Наши юношеские дурачества на берегу озера Бенакус⁸ сослужили мне добрую службу. Лишь недавно прибыв в Рим, я уже стал звездой обществ «Эмилианские шашки» и «Любители плавания», и за мной числятся славные подвиги: я раскачивался на потолочных балках и переплыл Тибр, держа над головой кошку. Тварь исцарапала мне запястье, и кровь моя смешалась с водами реки. Наконец-то я почувствовал, что Рим принял меня и отведал моей плоти, если можно так выразиться. Я рассказал об этом всем, кто согласился меня выслушать, и пикантность моего кощунства привела их в полный восторг; уж они постарались сообщить о ней всем желающим.

Впрочем, далеко не все мои выходки были столь же безобидными.

Вообще-то орава молодых аристократов способна поставить на уши любой город, даже Рим. Только вчера – в одну из таких безумных ночей, когда в воздухе буквально разлиты возбуждение и веселье, – после того, как остальные разбрелись по домам, мы с Цинной, помнится, поймали золотаря и окунули его головой в сточную канаву. Впрочем, все мои поступки в последнее время выглядят нарочито: то, как я морщусь, уловив смрадный запах, или изощренно богохульствую, проигрывая в кости, или с преувеличенным тщанием опускаю на стол опустошенный кубок. Я стараюсь привлечь к себе всеобщее внимание, чтобы не обмануть ожиданий тех, кто наблюдает за мной (сейчас я буквально слышу, как ты говоришь: «Ты совсем не изменился, Гай»).

А еще я обзавелся новыми друзьями, Люций.

Люди пишут нашему *pater* злопыхательские послания, говоря: «Молодой Катулл⁹ связался с самой дурной компанией в Риме».

И слухи не лгут (старик у я, естественно, заявил, что все это – грязные инсинуации). Я свел *близкое* знакомство – я намеренно использую это слово – с Клодией Метеллой и ее братом Публием Клодием Пульхром.

Братец с сестричкой способны на такие выходки, от которых содрогается даже Рим. Впрочем, я знал об этом еще до того, как стал дружен с ними: брат – суший головорез и хулиган (его свита превосходит порочностью и злобой даже эскорт самого Цезаря); а сестра – знаменитая куртизанка. Она состоит в вертикальной и горизонтальной связи (как тебе при-

⁷ Ложный шаг, оплошность (*фр.*).

⁸ Озеро Гарда (в эпоху Древнего Рима – озеро Бенакус или Бенакское озеро, что в переводе означает «благословенное») – самое большое озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножия Альп в котловине ледниково-тектонического происхождения.

⁹ Гай Валерий Катулл (ок. 87 г. до н. э. – ок. 54 г. до н. э.) – один из наиболее известных поэтов Древнего Рима и главный представитель римской поэзии в эпоху Цицерона и Цезаря.

думанная мною игра слов, Люций?) с доброй половиной патрициев Рима. Причем Клодия обладает не только красивой внешностью. Она обладает властью.

В своем доме на роскошном и надменном Палатинском холме она развлекает знать Рима такими способами, которые считаются неподобающими даже для высокородной римской матроны, чей супруг вот уже двадцать лет очень кстати прозябает в провинции. Где-то еще имеется и хилая дочь-наследница, но она не в счет. Именно мать привлекает к себе толпы поклонников, воспламеняя их сердца. Ее пиры, на которых она возлежит в прозрачном муслине и танцует с непристойной откровенностью, славятся своими похотливыми ночными забавами и тем, что начинается после них.

Посему, когда я впервые выказал к ней интерес в обществе, присутствующие, что вполне естественно, разразились избитыми и ставшими уже банальными шуточками. «Она – настоящая бесстрастная развратница, – наперебой закричали они. – Но это может случиться с кем угодно. Даже с нею...»

– Разве она – не талантлива? – отважился поинтересоваться я, неотесанный и неуклюжий, как теленок. Лицо у меня горело. – Я слышал, что она пишет пьесы.

– Самая ее остроумная пьеса находится у нее между ног, – с хохотом выкрикнул кто-то, и я рассмеялся вместе с остальными.

В конце концов я встретил ее на пиру у Аллия.

Целий соблазнил меня танцовщицами, не говоря уже о язычках фламинго и мозгах павлина, приготовленных в вине. И обществом поэтов. Себя Целий тоже полагает таковым, невзирая на то, что его вирши скучны, как пьяная проститутка. Правда, он уже снискал себе некоторую известность на шумных пирушках, флиртуя со стариками и в нужный момент пуская в ход свою обаятельную улыбку.

Эта попойка была как раз из таких.

И там была она.

Он познакомил нас у ворот, залитых трепещущим светом факелов.

– Гай Валерий Катулл... Клодия, дочь Аппия, супруга Квинта Метелла.

Я поклонился, спрашивая себя, слышала ли она уже обо мне.

Помню, как она искоса взглянула на меня, помню красно-коричневую радужку с быстрым черным зрачком, помню взмах густых тяжелых ресниц. Звякнув изумрудными серьгами, она низким, глубоким голосом лениво протянула нечто неразборчивое, отчего мне пришлось наклониться к ней.

Сердце замерло у меня в груди, а потом жарко затрепетало, колотясь о ребра. Я вдруг ощутил в неподвижном воздухе запах молнии (и она действительно разорвала свинцовые небеса часом позже, так что гости брели домой по залитым лужами улицам).

Но гроза пока что таилась лишь в моем воображении, и на мгновение мое дыхание смешалось с дыханием Клодии. Уже поворачиваясь, чтобы уйти, она медленно оглядела меня с ног до головы и быстро зашагала прочь, так что груди ее тяжело заколыхались под туникой, искусно заколотой роскошной агатовой брошью. И только тогда я заметил, что подол ее уже перепачкан соками сточной канавы.

Она оглянулась лишь один раз и исчезла, растворившись в толпе важных мужчин в самом сердце сборища. Я заметил, как ее брат – сходство было поразительным – притянул ее к себе и что-то прошептал ей на ухо. В молочно-белом лунном свете я стоял как вкопанный, чувствуя, как бешено колотится в груди сердце, а по коже бегают мурашки, пока начавшийся ливень не загнал меня под журчание струй на крытую галерею. Там уже раздавались голоса моих братьев-поэтов, но они доносились до меня, как сквозь стену. Возвращаясь домой, я без конца повторял ее имя. Проливной дождь хлестал меня плетью, а тонущее небо над головой хаотично расчерчивали зигзаги молний.

С самого начала я сказал себе, что любовь стоит столько, сколько ты готов заплатить за нее. Подобно всем прочим, я предпочел не сидеть в присутственном месте, изливая свои чувства в расчете на справедливое вознаграждение. Когда через два дня после ужина у Аллия она прислала гонца, я понесся по все еще исходящему паром холму к ее дому в привилегированном районе Кливус Викториа на западном склоне Палатинского холма, задыхаясь от крутого подъема и предвкушения, как и многие до меня. Я бежал так, словно ступал по раскаленным угольям, стремясь к ослепительно-белому свету. Волосы мои были умащены праздничными благовониями, а запястья вновь покрылись гусиной кожей.

По пути наверх я миновал храм Кибелы¹⁰, стены которого по обыкновению содрогались от пронзительных завываний и лихорадочного боя барабанов. Нет, Люций, я не слышал грозного предостережения в этой какофонии! Это ты наверняка проникся духом ее величия, поскольку живешь в Малой Азии, где Великая Мать пользуется уважением и почитанием. Но здесь, в утонченном и развращенном Риме, культ Кибелы вызывает одни лишь насмешки. Тот факт, что по-прежнему находятся мужчины, готовые подражать ее ученику и последователю Аттису¹¹, отрезая себе достоинство каменным ножом, вызывает у нас одно лишь отвращение. Как бы там ни было, уверяю, что мысль о том, чтобы изуродовать себя, даже не пришла мне в голову, когда я промчался мимо шумного храма к дому Клодии.

Достигнув ее залитого дождем сада, я заставил себя перейти на шаг и медленно пошел мимо курящихся паром цветов. У ворот меня встретил еще один слуга. Не поднимая глаз, он приветствовал меня и молча провел в комнату, где меня ждала его госпожа. Поначалу, ошеломленный представшим мне зрелищем, я даже не заметил, что она вольно раскинулась на оттоманке. Подо мною в миниатюре лежали вся власть и могущество Рима. Дом Клодии возвышался над форумом¹², где, без сомнения, замышлял и претворял в жизнь свои интриги ее брат Клодий, пока я стоял и смотрел на него. Это здание возносилось над палатами и храмами, и до его террасы не долетало ни звука их шумной жизнедеятельности. Я слышал лишь треск цикад и тихий шорох шагов слуг. Отсюда Рим казался игрушечным, построенным только для того, чтобы им управляла Клодия.

– А вот и поэт.

Звук ее холодного голоса, в котором сквозило ленивое изумление, заставил меня обернуться. Я вздрогнул от неожиданности: наряд ее был весьма скудным. Взгляд мой упал на терракотовую масляную лампу, стоявшую на столике рядом с нею. Лампа была искусно изготовлена в форме крылатого пениса.

– Против черного сглаза? – набравшись смелости, осведомился я.

– Таково ее обычное предназначение, – уклончиво протянула в ответ она.

Она не сочла нужным встать, дабы приветствовать меня, а лишь приглашающим жестом погладила подушечку рядом с собой и улыбнулась. Подойдя ближе, я разглядел, что подголовник ее оттоманки украшают резные изображения гиен.

Последовал обмен ничего не значащими любезностями, а потом она поразила меня тем, что отдалась мне без всяких церемоний, словно акт этот не имел для нее никакого значения.

Но я никогда не забуду оттоманку на крытой галерее ее дома, то, как под стрекот цикад я в первый раз поцеловал ее и распустил пояс ее широкой накидки, и легкий трепет воздуха, поднятый крылышками ее ручного воробья. Птичка без устали кружила над нами, намереваясь опуститься на нас всякий раз, когда мы замирали в неподвижности. Я помню, как в ушах

¹⁰ Кибела – Великая Мать богов, фригийская богиня, символизирующая плодородие.

¹¹ Аттис – в древнегреческой мифологии юноша необычайной красоты, родом из Фригии, возлюбленный Кибелы.

¹² Форум – открытая площадь в центре города, служившая рынком или местом общественных собраний.

у меня отдавался шорох крылышек, а крошечные коготки царапали мою спину. Царапины, которые я обнаружил там впоследствии, вполне могли остаться после этого.

Мне кажется, что все происходило очень медленно, потому что я не спешу, мысленно представляя себе первый день, который обнаженная Клодия провела в моих объятиях. Все происходящее походило на долгий и неторопливый пир с девятью или десятью переменами блюд. Одни насыщали меня до отвала; другие лишь разжигали аппетит в предвкушении того, что должно было последовать за ними. Спустя некоторое время я перестал тревожиться о том, что нам могут помешать. По тому, как сосредоточенно Клодия занималась со мной любовью, я понял, что она устроила все таким образом, дабы насладиться мною сполна, испытать мою силу и свести предварительное знакомство. Оттоманка то представлялась мне бассейном, в котором она вознамерилась утопить меня, то парила над землей. Я оставался у нее до тех пор, пока над нами не возшла тусклая ущербная луна. Слепая ночь таранилась мне в спину, пока я, едва переставляя ноги, брел домой.

Объятия ее были страстными и горячими; ростом она почти не уступала мне, сытая и полная сил. Сладость ее дыхания смешивалась с изысканным запахом благовоний, которыми она умаслила волосы и брови. Я задыхался в этих ароматах и тонул в объятиях ее рук, которые скорее исследовали мое тело, нежели ласкали его. Грудь ее оказалась тяжелыми и куда менее отзывчивыми, нежели я себе представлял, но ощутить в своих ладонях то, о чем я лихорадочно мечтал последние сорок восемь часов, было для меня достаточной наградой. Я вполне отдавал себе отчет в том, что она старше меня по меньшей мере на пятнадцать лет. Но вместо того, чтобы внушить мне отвращение, факт сей лишь заставил меня почувствовать себя взрослым, словно я не просто вступил в пору зрелости, но и Рим, а с ним и весь мир раскрылись передо мной. Как-то вдруг все мои подростковые желания и увлечения воплотились в грубую и приземленную мужскую похоть.

Ее холодность... очаровывала и пленяла. С самого первого мгновения она опьянила меня и вскружила мне голову, и я влюбился в каждую часть ее тела, как и все прочие до меня. Точно так же, как все те, кто был у нее раньше, и те, кто будет потом, я смущенно вспоминаю, как меня распирала словоохотливость. Я сгорал от нетерпения поведать всему миру о том, что спал с нею, и еще более красноречиво описать, как уже начал страдать от этого. В тот вечер я написал свою первую поэму.

Но был ли я счастлив тогда? Хоть на мгновение? Быть может, когда впервые ворвался в нее? Если ты обратил внимание, я говорю лишь о ее теле, а не о словах. Мы не обменивались ласковыми глупостями, и губы наши были заняты тем, что терзали друг друга. Все происходило как-то обезличенно и бесстрастно. Даже жар наших объятий угасал в ее суровом молчании. Она не издала ни единого стога; единственным признаком того, что я сумел преодолеть ее *froideur*¹³, стала одинокая капелька пота на верхней губе. Но даже и та могла принадлежать мне и сорваться с моего залитого слезами лица; я, видишь ли, всегда плачу в самый последний момент. То были слезы предвидения, хотя, слишком занятый и утомленный, я не мог осознать, о чем плачу.

Она решила, что с нее довольно, и властно оттолкнула меня, так что я свалился с оттоманки, пряча смущение под робким смешком: мне было не так унижительно воображать, будто с ее стороны это был игривый жест. Разгладив свое облачение, она совершенно нормальным голосом заговорила со мной об обыденных вещах: о скандалах в городе и банях. Я уверял себя, что смех ее стал чуточку более хриплым и интимным, чем до этого. О том, что произошло между нами, сказано было очень мало и в основном мною. Ее самообладание не позволяло мне высказать все, что я хотел, а это, безусловно, означало, что я влюбился без памяти.

¹³ Холодность, сдержанность (*фр.*).

Я знаю лишь, что доставил ей удовольствие, поскольку за первым свиданием последовали и другие. Их было много. Но она никогда не была более дружелюбна, чем во время первой нашей встречи, и на публике ничем не выдала наших отношений. Женщина, которая любит, не может не выдать своих чувств, а Клодия без труда соблюдала правила приличия.

Я не мог обманывать себя тем, что покорила ее сердце. Тем не менее, как ты понимаешь, – я *владел* ею. И был чрезвычайно горд собой. Я был любовником самой желанной женщины во всем Риме!

Теперь у меня было о чем писать.

В своих стихах я стал называть ее Лесбией. Так ребенок придумывает название тому, чего отчаянно жаждет, словно от этого его вожделение обретает законную силу. Например, отражение солнца или луны в воде. И мое обладание Лесбией было столь же эфемерным. Это прозвище стало самым большим комплиментом, который я мог даровать ей. Женщины с острова Лесбос считаются самыми утонченными и совершенными на всем свете; кроме того, о чем свидетельствует их живое воплощение – поэтесса Сафо, они обладают изысканной изощренностью, поэтическими наклонностями и нежной страстностью. Я вовсе не вкладывал в него второе значение, феллаторическое...¹⁴ Прости меня, если тон мой, коим я объясняю тебе недомолвки, кажется тебе покровительственным. Не знаю, обсуждают ли подобные вещи в провинции и военных лагерях.

Воробей Лесбии, сандалия Лесбии, поцелуй Лесбии... Я поклялся, что наши поцелуи будут чем-то большим, чем песчинки на пряных и ароматных берегах Кирены¹⁵. Слепящий жар солнца, власть и могущество Рима – все растает в огне нашей страсти. Я похвалялся, что сообразительность ее ручного воробья и его осторожные атаки на ее пальчик превратятся в ничто по сравнению с теми плотскими удовольствиями, что я сумею предложить ей.

Итак, я тоже стал солдатом, Люций. Сочинение стихотворений, посвященных Клодии, превратило меня в военачальника над словами!

Теперь я – уже заслуженный ветеран. Сначала я прогоняю слова маршем и выстраиваю их в боевые порядки. Затем я говорю: «Итак, слова, исполняйте свой долг и служите!» И они выступают в путь, иногда сразу же попадая в цель, а иногда рассыпаясь недомолвками с сексуальным подтекстом, дурно рифмованными и лишенными смысла.

Поначалу мне казалось, будто я изобретаю новые чувства и ощущения, например «судорожное сжатие сердца» или «щебечущий трепет над моей обнаженной спиной», но все эти образы – лишь пешие солдаты старых чувств. Поэтому я всегда возвращаюсь к пяти великим генералам.

Всякий раз, собираясь писать новую поэму, я призываю их к себе и говорю:

– Губы! Нос! Глаза! Кожа! Уши! Скажите мне, что сделала с вами Клодия! Подумайте и тотчас же доложите мне!

Шаркающей походкой они удаляются обдумывать мой приказ и возвращаются с докладами. Я готовлю восковые дощечки и берусь за стило.

– Губы первые! – говорю я. – Что она сделала с вами?

– Изнасиловала нас, господин.

– Нос?

– Изнасиловала... духи...

– Довольно, – перебиваю я его. – Кожа?

– Изнасиловала до смерти.

– Уши, вас тоже?

¹⁴ Феллаторический – от слова «феллаторизм» (форма орогенитального сексуального контакта).

¹⁵ Кирена – древнегреческий город в Северной Африке (на территории современной Ливии), у побережья Киренаики. С 4 века до н. э. – интеллектуальный центр со знаменитой медицинской школой.

– Этот голос...

– Скучно! – заявляю я им. – Расскажите мне что-нибудь новенькое об изнасиловании.

В конце концов им это удастся. Губы приносят мне воспоминания о поцелуе, нос – память о благовонии, и постепенно все это складывается воедино. Я пишу и стираю слова с восковой дощечки до тех пор, пока меня не охватывает чувство узнавания, пока я не начинаю видеть, как мои чувства парят в этом жемчужном зеркале.

Я заканчиваю работу над стихотворением только тогда, когда уже не могу подойти к нему снова и захватить его врасплох. Если же, перечитав его, я говорю: «Ага! Есть!» – значит, оно готово. Стихотворение уже сражается самостоятельно. Оно более не нуждается во мне и идет в мир само по себе.

Чтобы принести мне славу и сделать знаменитым.

Чтобы все узнали о том, что в этом хваленном городе шлюх появился еще один поэт, которого надо кормить.

Глава первая

*...Но в обмен награжу тебя подарком Превосходным, чудесным
несравненно! Благовоньем – его моей подруге Подарили Утехи
и Венера. Чуть понюхаешь, взмолишься, чтоб тотчас В нос всего тебя
боги превратили.*

Когда Венецию окутывает густой молочный туман, город начинает разрушаться. Глаз видит тусклые мазки силуэтов, в которых проступают первые наброски архитектора: скелеты *palazzo*¹⁶, какими он видел их на бумаге, когда они жили еще лишь в его мечтах. А потом, когда дымка поднимается, эти здания вновь обретают плоть и кровь, словно отстроенные заново. Но, пока этого не случится, жители Венеции отыскивают себе дорогу носом.

В сгустившемся воздухе каждый дурной запах и благоуханный аромат усиливаются многократно. Каналы пахнут бараниной и скошенной травой, испарения над вечным прибоем дышат темными морскими глубинами, новорожденные благоухают мышиными норками, а женщины – своими желаниями.

Когда город накрывали морские испарения, на улицах становилось темно; неизменно освещенными оставались лишь *cesendoli*, маленькие часовни Девы Марии, да вплоть до четвертого часа утра горели немногочисленные лампы под сводчатыми галереями. Немоощные улицы были изрыты ямами и канавами; деревянные мосты могли обрушиться в любой момент, отчего туман, уже и так пропитанный обещаниями опасных и удивительных встреч, становился лишь еще более угрожающим и восхитительным.

Туман поглощал звуки, отрывая их мягкое эхо. Город, покачиваясь, словно колыбель на воде, терял слух и полагался на одно лишь обоняние, словно крот. В такие дни женщины и мужчины, бредущие по улицам, напоминали лунатиков с раздувающимися ноздрями, широко расставленными пальцами ног и обострившимися до предела животными чувствами.

Туман лепил потайные карманы, сталкивая вместе случайных прохожих на улице, на краткий миг соединяя продавцов светильников, разносчиков жареной рыбы, шерсточесов, изготовителей масок, вытягивальщиков ткани и чеканщиков. Он расступался, обнажая неожиданные сценки, которые вскоре вновь подергивались туманной дымкой: толстого флейтиста, похожего на страдающего запорами, но одаренного ребенка, складывающего губы трубочкой, чтобы подуть на ложку; *scuole of battuti* – флагеллантов, бродящих по городу с закрытыми лицами и обнаженными спинами и истязавших себя железными цепями и розгами; кошку и кота, занятых производением потомства.

Или из тумана вдруг выступала морда огромной ухмыляющейся свиньи. Прошло совсем немного времени после того, как сенат запретил выпускать на волю маленьких поросят, но они по-прежнему сеяли хаос и разрушение на улицах. Свиней, которых должны были кормить истинно верующие, лишь изредка подкармливали монахи монастыря Святого Антония. Животные жирели и свирепели, невозбранно угощаясь тем, что приходилось им по вкусу. Когда туман мариновал их щетину, накрывая их с головой, они становились шаловливыми и игривыми, сбивая с ног неосторожных прохожих и отправляя их в каналы с ледяной водой.

В такие дни мужчины, любившие Сосию Симеон, спрашивали себя, что она поделывает, потому что знали ее. Они знали, что, повинаясь минутной прихоти, она запросто и не задумываясь, может изменить им всем до единого. И осенью 1467 года, когда город

¹⁶ Дворец, палаццо (итал.).

накрыл первый туман, именно этим она и занималась с вельможей средних лет, с которым только что разминулась на глухой улочке в районе Мизерикордии.

Она заметила блеск желания в его зеленых глазах и характерную впадину на груди, когда он соткался из тумана: он сам мог не сознавать этого, но Сосии было ясно, что Николо Малипьеро срочно нужна женщина. Она мгновенно приоткрыла свою накидку, чтобы его ноздрей коснулся ее теплый запах дикого животного. Ее аромат протянулся по белому влажному воздуху, осязаемый, словно указующий перст.

Аристократ, на которого наткнулась Сосия, телосложением и сам походил на кабана, толстый и неуклюжий. Когда Сосия приблизилась к нему, у него перехватило дыхание. Она же замедлила шаг, а потом и вовсе приостановилась, глядя ему в глаза. Аристократ тоненько заскулил, а потом с непривычной для себя резкостью схватил ее за запястье и потянул. Его красная мантия сенатора окутала их кровавой волной.

– Как тебя зовут?

– Сосия.

– Ты кто? Ты зачем...

– Ты – венецианец?

– Да.

Сосия улыбнулась.

– Сколько?

Она ничего не ответила, увлекая его за собой в переулок, и распахнула накидку. Туман в мгновение ока отделил их от остального мира. Он содрогнулся у нее между ног, глядя ей в глаза невидящим взором, когда она на мгновение зажмурилась, покачиваясь на его черенке, как будто намереваясь сорвать с земли полевой цветок. Он закричал, прикусив язык и понимая, что такого удовольствия не испытывал еще никогда в жизни. По щекам его текли слезы.

* * *

Взяв ее, он не испытал облегчения. Николо Малипьеро вновь и вновь растерянно лепетал: «Когда? Сколько?», пока семя застывало у нее на бедрах, а они стояли, тесно прижавшись друг к другу в дверном проеме, окутанные туманом, словно теплым одеялом.

Сосия сказала:

– Реши сам, сколько я стою, понятно?

– Я не могу этого сделать. Я должен узнать тебя. Это... очень важно. – Голос его сорвался, и в нем зазвучали стыдливые умоляющие нотки.

Она молча отстранилась, непоседливая и неутомная, как белка. Она была такой странной и необычной женщиной, каких он еще не встречал. В Венеции можно было найти самых разных куртизанок, но с такой, как эта, ему еще никогда не приходилось иметь дела. Ее акцент смущал его, да и сама она внушала беспокойство. В ней начисто отсутствовали изящество и нежность: материнские качества, присущие некоторым шлюхам, равно как и коммерческая жилка с расчетом на следующую встречу.

– Когда я снова увижу тебя?

– Откуда мне знать?

– Приходи завтра ко мне в *studiolo*¹⁷. Там никого не будет.

Он крепко взял ее за запястье и зашептал на ухо, рассказывая, как пройти в назначенное место.

¹⁷ Небольшое ателье, мастерская, студия (итал.).

– Вот ключ. – Она потянулась за ним, и Малипьеро заметил желтый кружок, пришитый к ее локтю. От неожиданности у него перехватило дыхание, но она уже опустила ключ в карман накидки и зашагала прочь, не глядя на него.

Разумеется, она и не подумала прийти на следующий день, когда Николо Малипьеро, дрожа всем телом, лежал, укрывшись шкурами горностая и медведя, которые купил, чтобы на них заниматься с ней любовью. Он лежал в одиночестве, терзаясь липким холодным страхом, что больше никогда не увидит ее вновь, и его сжатые в кулаки руки походили на бутоны умерших роз.

Не пришла она и на другой день, когда полуночная буря наконец-то разогнала туман и Венеция заблестала всеми оттенками порока в ярких лучах солнца. А он ждал. Неверной рукой он налил вино в бокал и стал ждать, пока не исчезнут крохотные пузырьки у его края, сказав себе, что она непременно появится, как только рубиновая жидкость станет совершенно спокойной и неподвижной. Заканчивался второй день, а он так и не выходил из своей студии, боясь, что она появится именно в этот момент и он потеряет ее навсегда. В комнате поселился металлический запах страха и затхлый привкус безнадежного желания. Он отправил посыльного к жене: «Мне нездоровится. Не хочу заразить детей: не приходи ко мне».

На рассвете третьего дня Сосия ногой распахнула незапертую дверь и застыла в дверном проеме, на фоне которого черным силуэтом прорисовались ее талия и бедра под обрубком из китового уса. На пальце у нее покачивался ключ.

Она сказала:

– Значит, у тебя все-таки есть красное вино, господин аристократ? Это – как раз то, что я люблю.

Он был совершенно голым, лежа под шкурками горностая. При этих ее словах он неуклюже вскочил, едва не сойдя с ума от радости; мех оставил на его спине розовые полосы, словно он и сам был флагеллантом. Потянувшись за кувшином, он опрокинул его на пол и повернулся к ней, устыдившись до глубины души. Он болезненно сознавал, что вино рубиновыми каплями стекает по его ногам, что на кончике носа повисла унижительная слеза, а внизу живота разворачивается стыдная эрекция.

Сосия на мгновение вспомнила элегантного Доменико Цорци, чьи тонкие губы поражали своей подвижностью, а кожа на лице была бугристой, как огурец. Он, без сомнения, ждал ее, как они и договаривались, в роскошном полумраке своего *palazzo*. Сегодня он, как и обещал, наверняка припас для нее новую книгу. Что ж, ему придется подождать. Он может даже настолько увлечься своей книгой, как истинный грамотей, что забудет о ней на час-другой. Думать же о Фелисе Феличиано она себе запретила. О своем супруге Рабино она не вспомнила вовсе.

Наступали холода, ей исполнилось уже двадцать семь, и Сосия Симеон почувствовала, что ей требуется новый венецианский вельможа. Этим утром она раскрыла свой грессбук на новой странице и в колонку, озаглавленную «Золотая книга»¹⁸, вписала имя: «Николо Малипьеро».

Оно хорошо смотрится под всеми прочими, решила она.

¹⁸ «Золотая книга» – альманах эпохи итальянских республик, в который золотыми буквами вписывались фамилии итальянской знати.

Глава вторая

...А у глупого есть жена в лучшем возрасте жизни, Избалованной и нежней, чем козленок молочный: Вот за ней бы и глаз да глаз, как за спелой гроздью, А ему-то и дела нет, пусть гуляет, как хочет.

Рабино Симеон, уголком глаза поглядывая, как она прячет книгу на привычное место в нише кладовой, отметил, что жена его осунулась и похудела за те несколько дней, что он не видел ее. Он обратил внимание на то, как прядь темных волос, которую она по привычке сунула в рот, поднимает уголок губ к необычно тяжелому уху. На фоне матово-белой кожи черная прядь походила на трещину на щеке.

В том, что касается природы ее заболевания, он подозревал худшее. Горькое чувство стыда заставило его опустить глаза долу, когда она прошла мимо него по лестнице, поднимаясь в их спальню.

С грустью он отметил удобу ее запястий и хриплое дыхание, но к жалости примешивались и куда более мрачные чувства.

Отгоняя от себя неприятные и оскорбительные образы, навеванные гроссбухом, Рабино яростно затряс головой, стряхивая со своего просторного одеяния чешуйки кожи, мерзкие и отвратительные, как могильные черви. Он плотнее запахнулся в накидку, скрывая желтый круг на рукаве, и выскользнул в ледяной мрак ночи. Если Сосия в кои-то веки собралась провести вечер дома, тогда ему лучше оказаться подальше от нее.

В тот день, когда Сосия Симеон повстречала Николо Малипьеро, исполнилось ровно двенадцать лет с той поры, как Рабино взял Сосию из несчастной и обездоленной семьи далматинских¹⁹ евреев. Поначалу она исполняла у него обязанности служанки и секретаря. Он вдруг вспомнил, что день тогда выдался сырым и холодным, на дворе стоял декабрь, а ему еще не исполнилось сорока. Ей же было всего двенадцать, во всяком случае, так ему сказали, и она была еще *puella*, невинная и несовершеннолетняя девочка в глазах закона. Вскоре он понял, что она старше по меньшей мере на два года. Всего через несколько дней после своего появления в его доме она невозмутимо попросила у него тряпок для личного пользования.

Он соорудил для нее гнездышко в мансарде и мягко, как только мог, объяснил ее обязанности. Протиснувшись мимо него в комнату, она задела его грудью и многозначительно взглянула на лестницу, по которой они только что поднялись. Рабино понял, что уединение имеет для нее очень большое значение. «Бедняжка, до сих пор у нее такой возможности не было», – подумал он.

Итальянским она овладела с поразительной быстротой, учитывая ее прошлое и малое знакомство с окружающим миром. Отец учил ее языку в своей школе, сообщила она ему. Но ее словарный запас, как сразу же определил Рабино, оказался куда богаче отцовского, равно как и грамматика. Еще большее беспокойство ему внушало то, что она никогда не спотыкалась на словах.

Она редко изъяснялась длинными фразами, зато Рабино обнаружил, что она не сводит с него глаз, когда бы он ни поднял голову. Взгляд ее, который никогда не встречался с его взглядом, не был ни благодарным, ни раболепно-угодливым. Казалось, Сосию чрезвычайно интересует любое его движение. Она, похоже, пристально вглядывалась в очертания его рук и ног, обладая способностью видеть сквозь одежду, чем напоминала сладострастную вдову, а не маленькую девочку. Рабино запутался в ее взгляде, чувствуя себя мухой, медленно тону-

¹⁹ Далмация – историческая область Югославии.

щей в стакане с сахарным сиропом. Это сбивало его с толку, он растерялся и вскоре стал думать о Сосии как о взрослой женщине, созревшей в своих желаниях и откровенно выражавшей их.

Рабино никак не мог решить, красива девочка или уродлива. Черты ее лица то казались ему озаренными чувственным светом, то жесткими и угрюмыми, словно вырубленными в граните. Эта загадка заставляла его снова и снова искать и находить ее взглядом, и так продолжалось до тех пор, пока напряженное наблюдение за Сосией не превратилось для него в запретное удовольствие, вызывающее мучительный стыд.

Но ее, похоже, ничуть не беспокоил его взгляд; напротив, она купалась в нем, словно он принадлежал ей по праву. Рабино готов был поклясться, что временами она намеренно стремится попасть ему на глаза. Она обзавелась завораживающей привычкой доставать семечки яблок языком. Когда они ели, она могла замереть с ложкой во рту, так что у него перехватывало дыхание в ожидании, когда же она вынет ее. Было трудно представить, что она не сознает, какое действие оказывает на него вид ее мокрой одежды, когда она стирала белье: намокшая ткань ее платья-рубашки становилась прозрачной, и под ней проступали очертания ее рук и нежный изгиб ключицы.

Она говорила так мало и так редко, что Рабино никак не мог проникнуть в ее мысли. Вскоре он понял, что ему удобнее думать о ней как о телесной субстанции, служащей живым воплощением запретных желаний.

* * *

Она прожила в его доме три месяца, беззащитно пожирая его самообладание своим откровенным взглядом, пока однажды зимним вечером в кладовой похоть не захлестнула его. Он вдруг обнаружил, что держит ее за бедра, входя в нее. Сосия не поморщилась, когда он схватил ее, не сопротивлялась, когда он задрал ей юбку. В его объятиях она оставалась податливой, холодной и бесстрастной. Пока он трудился над нею, заливаясь краской стыда, она медленно повернула голову, чтобы взглянуть на него. После этого она больше не смотрела на него, когда мыла тарелки своими тонкими пальчиками. Она не дотронулась ни до себя, ни до него.

Сидя в углу и глядя на нее, Рабино чувствовал себя не только насильником, но и извращенцем#соглядатаем. Он не мог поверить, что только что совершил столь жестокий акт в собственном доме и что тот не возымел никаких видимых последствий. В пламени свечи на плитах пола блестели капли вспененной жидкости. Охваченный ужасом, он отвел взгляд. Подумать только, он, врач... Он не мог заставить себя подумать о том, что сейчас совершил. Скрип ее ногтей по глиняной посуде заставил его поспешно выскочить из комнаты.

Он женился на ней. Он знал, что не любит ее, что она не станет ему верной спутницей жизни, которую он всегда мечтал найти, но полагал, что подобная жертва поможет ему самым честным и достойным способом искупить свой грех. Даже самому себе он не мог признаться еще и в том, что боится, как бы девочка не забеременела. Он задержался в ней всего лишь на миг, после чего пролил семя на каменный пол, – но знал, поскольку первый его порыв был спонтанным и произвольным, что это может повториться. В собственных глазах он превратился в чудовищного раба предосудительной неводержанности.

При этом нельзя сказать, чтобы раньше Рабино никогда не вожделел к женщинам. Но до сих пор ему удавалось смирять свои чувства, проявляя доброту к предмету своей любви. Он знал, что неуклюж и нескладен, что борода его жесткая и грубая, а глаза вечно переполнены влагой. Он и подумать не смел о том, чтобы навязать себя женщине, которая ему нравилась. А Сосия была другой. Ее эротическое присутствие делало благоуханным воздух в доме, которым он дышал, а каждая устрица или артишок, которые она подавала

ему, напоминали Рабино о том кратком миге, который он провел внутри ее мягкого, податливого тела.

С самого первого мгновения он понял, что стал для нее отнюдь не первым. Шок этого открытия лишь еще сильнее обесчестил его; вместо того чтобы спасти ее, он присоединился к тем, кто, по всей видимости, ожесточил девочку настолько, что она уже не видела ничего постыдного или хотя бы необычного в том, чтобы совокупляться без любви со своим нанимателем.

Он спрашивал себя: «Быть может, ее научили предлагать свои услуги любому, кто готов платить?» Но он отбросил эту мысль как слишком гадкую и грязную, чтобы она оказалась правдой. Ведь ей исполнилось всего четырнадцать, от силы – пятнадцать лет; он забрал ее у родителей, которые, несмотря на свое крайне бедственное положение, пользовались заслуженной репутацией уважаемых людей. И до этого момента она жила под их защитой и на их попечении. Его заверили в этом. Более того, ее неотесанные манеры и полное отсутствие обаяния исключали любую возможность того, что ее воспитывали куртизанкой.

Иногда, впрочем, ему удавалось представить себя жертвой ее распущенности. Профессия научила его тому, что люди, пострадавшие физически или духовно, ведут себя наихудшим образом, увлекая за собой в бездну невинные души, то ли за компанию, то ли в отместку за собственные прегрешения.

Но Рабино был слишком добрым и интеллигентным человеком, чтобы позволить подобным оправданиям надолго заглушить угрызения совести. Вскоре им овладела навязчивая идея дать Сосии то, чего она недополучила в детстве. Он покорит ее своей добротой. И жизнь ее станет доброй и праведной: он посвятит этому собственное существование целиком, без остатка. Она станет ему близким другом и помощницей. Она научится доверять ему и сбросит маску холодной скрытности, которая до сих пор ожесточает ее черты. Взамен она обретет доброту; по собственному опыту он знал, что такое случается со всеми, кому приходилось иметь дело с больными.

Он вел с собой бесконечные мысленные монологи, убеждая себя в этом, а сам тем временем договорился с раввином и подрядил каллиграфа составить свидетельство о браке, а портного – сшить девочке новое платье для торжественной церемонии. Целых три недели – именно столько потребовалось для того, чтобы подготовить их обоих к свадьбе, – он не прикасался к ней. «Быть может, – говорил он себе в оправдание, презирая собственное ханжество, – даже девственность способна восстановиться. Господь милосерден», – молился он.

Слишком поздно, в их брачную ночь, он осознал, что Сосия отнюдь не была жертвой мужчин: заниматься любовью для нее было столь же естественно, как есть или дышать. Она не выказывала отвращения или испуга. Она оказалась ненасытной, и это ужаснуло его. Он сообразил, что мерцающие и неверные воспоминания, сочащиеся из всех пор ее тела, переполняют и заставляют дрожать воздух вокруг нее. Рабино так и не оправился от этого шока. Стоило ему представить, как ее тело извивается под другим мужчиной, и он больше не мог смотреть на нее без того, чтобы эта картинка не стояла у него перед глазами.

Поначалу его тошнило от одной только мысли об этом; иногда, когда он признавался себе в том, что не любит ее, его охватывало возбуждение, которое он полагал порочным. Он знал продавцов книг в Венеции, которые могли снабдить его гравюрами на дереве, на которых были изображены сцены, возникавшие в его воображении. Он знал, что среди его вельможных пациентов есть такие, кто обменивается подобными картинками. Значит, он согрешил и лишился достоинства; отныне примитивный акт связал его узами чести с женщиной, чья душа оставалась для него столь же загадочной, как и у тех, кто был изображен на непристойных гравюрах. Взглянув на себя в зеркало, он отводил глаза; он содрогался, думая о том, что шепчут за его спиной соседи. Он знал, что в Венеции их не зря полагают всеведущими.

Он перестал смотреть на Сосию. Все беды начались с первого взгляда, брошенного на нее. Его больше не беспокоило, красива она или уродлива. Врач и его жена разговаривали, не глядя друг на друга, потому что Сосия, казалось, тоже не имела желания лишний раз обращаться к нему. Когда он просил ее почитать ему вслух, чтобы побереечь уставшие глаза, ей словно удавалось превратить чистую и незамутненную поэзию в нечто холодное и разнузданное, не прибегая к искажениям и не меняя монотонной модуляции своего невыразительного голоса.

Как ей это удастся, оставалось для него загадкой. Скорее всего, в этом была повинна сама противоречивость ситуации: несмотря на намеренную холодность своих интонаций, она не могла скрыть удовольствия, которое доставляли ей слова. Когда Сосия читала, то в этом действе принимало участие все ее тело. Книгу она держала четырьмя сложенными пригоршней пальцами одной руки, а другая парила над нею, словно поднос с цукатами, пока она сосредоточенно вчитывалась в строчки. При этом она ерзала, как ребенок, слишком возбужденная, чтобы удерживать знания, которые вливались в нее. В такие моменты Рабино не хотелось смотреть на нее. «Сосия любит читать, – думал он, – но я ненавижу то, как она это делает».

Он перестал ходить за ней в кладовую и редко присоединялся к ней в их спальне. В такие дни он предпочитал оставаться на узеньком диване в *soggiorno*²⁰, нежели лечь рядом с ней в темноте. Брачное ложе, на котором спала Сосия, обрело в его усталом мозгу очертания жуткого моллюска с жадной пастью, из которой сочилась слизь. Казалось, в лунном свете тело Сосии под простыней обросло сотней шевелящихся щупалец. Спала она беспокойно, перебирала ногами и рычала, как животное. Возвращаясь домой в полночь, он смотрел на нее и даже приподнимал простыню, намереваясь присоединиться к ней. Но в последний момент его охватывало омерзение, и он тихонько уходил прочь, вытирая руки о тунику.

Рабино очень хотелось поговорить об этом со своим другом, хирургом Смуэлем Бен Шимшоном, но вряд ли Смуэль сможет понять его, а его сочувствие окажется вымученным и болезненным. Друг делил пылкую страсть со своей молодой женой. Рабино знал – судя по тому, что Смуэль спешил вернуться домой даже после самых приятных вечерних дискуссий, а иногда по утрам выглядел очень усталым, – что друга с его Бенвенутой связывает искреннее физическое и духовное счастье. Однажды он поинтересовался у Смуэля: «Что это за чудесный аромат?» Смуэль зарделся от смущения и, запинаясь, признался, что его жена любит класть стебли лаванды в постель, и по ночам те выделяют маслянистый сок.

Рабино представил себе, как Бенвенута рассыпает свежие травы по простыням, счастливо улыбаясь в предвкушении того, как разделит их восхитительный аромат со своим мужем. Сам он понятия не имел, чем занимается Сосия, когда его нет дома, чего ждет и ждет ли вообще.

Он не знал, как она проводит время и есть ли у нее подруги. В городе жили и другие сербы; а вот евреев почти не осталось, поскольку всех их, за исключением таких вот врачей, как он сам, выселили из города семьдесят лет назад. Не страдает ли она от одиночества, спрашивал он себя. Не тоскует ли по дому? И не ищет ли родственные души, такие, как она сама?

Быть может, ей хочется иметь дитя, думал он, но более не мог заставить себя исполнить то, что требовалось для осуществления такого желания. Как бы то ни было, но его профессиональный взор давно подметил некоторую патологию в строении ее бедер, чем и объяснялась ее ныряющая походка. Ей будет трудно выносить ребенка.

²⁰ Гостиная (*итал.*).

Рабино все чаще проводил ночи вне дома: вызывался дежурить у постелей умирающих, подменяя других хирургов, подобных Смуэлю, позволяя им с благодарностью вернуться к своим женам и семьям. Он с готовностью отправлялся на проклятый остров Санта-Мария ди Назарет, превращенный в *lazaretto*²¹ для тех, кто заболел чумой, и склад для зараженных вещей и товаров. Он бывал там так часто, что монахи даже выделили ему отдельную келью с чистым жестким соломенным тюфяком. Но время от времени ему приходилось возвращаться домой. Спал он урывками, днем, пока Сосия ходила на рынок. Скрежет ее ключа в замочной скважине служил ему сигналом, и он поспешно вскакивал с кровати. Он спускался по лестнице, вежливо здороваясь с нею, но она или игнорировала ее приветствие, или издевательски спрашивала: «Устали, господин доктор?»

Во время обеденной трапезы он, как и она, хранил подчеркнутое молчание. Еда была безвкусной, но сей факт он предпочитал не комментировать. Ему даже не хотелось привлекать к этому внимание, добавляя в пищу специи или удаляя подгоревшую корочку с кусочков мяса в каше. Он знал, что не только банальное неумение заставляет Сосию ставить перед ним на стол подобное отвратительное варево.

Это была ненависть, спокойная и бесстрастная.

²¹ Инфекционная больница, лепрозорий (*итал.*).

Глава третья

*...Он лежит, не подымет, как в канаве ольшина, Чей у корня
подрублен ствол топором лигурийца, И не чувствует, есть жена
или все уж пропало. Точно так же и мой чурбан: спит – не слышит,
не видит, И не знает, кто сам он есть, и живет он, иль мертвый.*

Рабино полагал, что Сосия ненавидит его за то, что он пренебрегает ею. Но здесь он ошибался. Муж мог доставить Сосии некоторое удовольствие лишь своим отсутствием. Она ненавидела читать ему вслух Петрарку. Ее тошнило, когда она видела, как увлажняются его глаза и как он смотрит на нее в поисках удовлетворения тех нежных порывов, что пробуждал в нем поэт. Вскоре она постаралась сделать так, чтобы он перестал просить. У нее были дела поважнее. Оставшись без присмотра, она пристрастилась срывать запретные удовольствия там, где находила их. Сосия добывала их с ловкостью необычайной и научилась с первого взгляда распознавать тех, кто искал того же, что и она.

На паромках в Венеции Сосия старалась держаться рядом с другими женщинами достаточно близко, чтобы уловить запах пота, смешанный с их духами из циветты, желая знать, что случилось с ними утром или днем – менструация или совокупление. Тех, от кого исходил аромат последнего, она одаривала кривой улыбкой соучастницы, отчего женщины заливались смущенным румянцем, утыкаясь в свои корзины с вишнями, или принимаясь теревить концы своих шалей, или без нужды поправлять ленты на головах у детей.

Уличные шлюхи демонстративно воротили от нее носы. Они не желали иметь ничего общего с такими, как Сосия Симеон, пусть даже не подозревая о том, что она – еврейка. Ее чужеродность раздражала и нервировала их, а исходящая от нее аура недоброжелательства была настолько сильной, что казалась заразной. Она выглядела способной украсть у них последние остатки невинности, отравив разрозненные обрывки сладких воспоминаний, которые у них еще оставались.

Если бы кто-нибудь спросил ее об этом, она не задумываясь ответила бы, что ненавидит Венецию, однако город как нельзя лучше устраивал Сосию Симеон и вполне подходил для ее целей. Она больше походила на героиню какого-нибудь романа, живущую на страницах книги, чем на живого человека из плоти и крови, волей судьбы и обстоятельств оказавшегося здесь. Сосия любила книги, когда не читала их вслух Рабино. Ей нравился тот выбор окружающих миров, что они предлагали, так непохожих на замкнутую среду супруги еврейского доктора в Венеции. Читая книгу, Сосия могла воображать себя мужчиной или женщиной, властной или бессильной. Чем больше она думала об этом, тем сильнее убеждалась в том, что имеет полное право примерить на себя все эти жизни, почерпнутые из интриг Ветхого Завета или живописных, аморальных восточных сказок. Ценности легендарного Востока привлекали ее куда больше: хитрость, коварная месть и тайна.

И Венеция, казалось, была создана для них. Еще со времен крестовых походов город обзавелся не просто обильной добычей: он присвоил себе и представление о красоте, слегка видоизменив его и сделав своим собственным. Его архитекторы стали копировать ажурную каменную вязь Востока и строить дворы, отгороженные аркадами, вывернув их наизнанку, так что отныне уединенная скромность внутренних убежищ исподволь, но все-таки выставлялась в Венеции напоказ. То, что в Алеппо выглядело непроницаемым, становилось доступным в Венеции. Любого мог пройти по одной из бесчисленных улиц и заглянуть в искусно вырезанное в камне отверстие, чтобы увидеть, как Сосия и ей подобные получают свои честные и бесчестные удовольствия. А она знала, что за ней наблюдают, и от этого наслаждение становилось еще острее.

Если Сосия и боялась каменных львиных морд, установленных на некоторых стенах Венеции, зияющие пасти которых ждали очередной порции доносов и клеветы, то ничем не выдавала своих чувств. Она лишь старалась побыстрее пройти мимо, направляясь по своим делам.

* * *

В одном Рабино был прав насчет своей жены. Сосия была рождена совсем не для той жизни, которую вела сейчас.

Ее родители, как показалось ему во время краткой встречи с ними, выглядели достойными и милыми людьми. Значит, решил Рабино, с девочкой что-то случилось. Его подозрения лишь окрепли, когда он заметил, что, прощаясь с Сосией, мать избегала смотреть на нее.

Рабино не знал, что мать не могла заставить себя взглянуть дочери в глаза с того самого дня, как семья бежала с гор Далмации.

В то свинцово-серое декабрьское утро тяжелые шаги, донесшиеся из леса, наполнили их сердца и души ужасом, воплотившись в конце концов в высокие фигуры худых, как щепки, людей, чьи силуэты зловеще выделялись на бледном золоте поля.

Сосия так и не рассказала Рабино о том, что было дальше: о том, как задушили удавкой дедушку и избили бабушку, о том, с каким жутким хлюпающим звуком их сморщенные лица превратились в кровавое месиво. О том, сколь жалкой оказалась на поверку родительская хитрость, когда они укрыли детей в деревянной клетке, зарыв ее в куче навоза. Солдаты прекрасно знали все эти глупые крестьянские уловки. Они и сами были крестьянами, когда под рукой не оказывалось более прибыльного занятия.

Они стали тыкать в кучу навоза вилами, нисколько не заботясь об осторожности. Детей, заходящихся криком и окровавленных, перепачканных навозом, выволокли наружу и оставили сидеть; они растерянно моргали и отчаянно сосали большие пальцы. Солдаты острым концом вил отшвырнули малышку на стог сена, где она и замерла в пугающей неподвижности. Младшие дети их тоже не интересовали. Зато один из них ухватил брыкающуюся Сосию за шиворот и поднял над кучей навоза. Солдаты заглянули ей под юбку и переглянулись. Она завизжала и забилась еще отчаяннее.

– Она созрела, – сказал один.

– Думаешь?

– Ну, я так точно созрел.

– Тогда вперед. Что тебя останавливает? Венецианцы еще не берут за это налог, верно?

– Венецианцы побрезгуют такой худышкой. Они даже не посмотрят в ее сторону и пальцем ее не тронут, эту грязную маленькую сербку.

– Красавицей ей тоже не стать, – заметил его спутник.

– Ей вообще никем не стать, – зловеще рассмеялся второй, помахивая огромным ножом для разделки свиней.

Они сошлись на том, что забавнее будет подвергнуть ее пыткам, чем совокупляться с нею.

Единственный из солдат, носивший некое подобие формы, демонстративно отвернулся, когда трое мужчин подошли к девочке, схватили ее за руки и за ноги и распяли, словно на кресте, под бесцветным небом. Четвертый провел своим стилетом по взмокшему лбу, чтобы увлажнить его. Кровь шумела у Сосии в ушах, заглушая все остальные звуки: она уже не слышала, о чем они говорят. Ее билась сильная дрожь, и органы чувств отказали ей: каждый удар сердца, словно лопатой, зачерпывал новую гору снега из огромного сугроба и обрушивал на нее. Еле слышно прозвучал ее жалобный крик; рот ее наполнился желчью, и она едва не задохнулась.

Они разорвали на ней платице и вырезали огромную букву S у нее на спине, узнав, как ее зовут, у остальных детей. Она плакала и стонала, извиваясь на колу, а они гоготали, глядя на нее.

После того как солдаты скрылись в лесу, из своего укрытия в амбаре вышли родители Сосии. Отец Сосии снял ее с черенка вил, и она повалилась в грязь. Она подбежала к матери, схватила ее за руки и попыталась обнять ими себя, но тщетно. Никто не желал смотреть на Сосию, и, когда она попробовала забраться матери на колени, та грубо оттолкнула ее в сторону.

В простодушной горячности детства она решила умереть как можно скорее, отказавшись от пищи и воды. Больше ей их не предлагали.

Умереть у нее почему-то не получилось. Рана быстро зажила, даже не воспалившись. Физически Сосия не пострадала. Но боль утраты, вызванная тем, что мать отказывалась взглянуть ей в глаза, ранила куда сильнее, проникнув глубоко под кожу.

Она изменилась и стала другой.

Она перестала плакать; она, у кого с самого детства глаза были на мокром месте, а душа всегда оставалась нежной и ранимой. Она никогда не заговаривала о том, что случилось. Загадкой осталось и то, что она смогла понять из обращенных к ней слов мужчин. Она не вспоминала их, как и самих солдат. Но их жестокие взгляды исчеркали ей лицо, а грубые фразы начали складываться в ее собственные предложения. Предложения эти неизменно были краткими, а смысл, который она в них вкладывала, был смутным и неясным. Взгляд ее сочился ядом, а рука без раздумий отвешивала шлепки и оплеухи остальным детям. Сосия вдруг превратилась в василиска, которого следовало бояться.

Через несколько часов после ухода солдат семья снялась с насиженного места. Отец Сосии закрыл школу, оставив на двери полную сожаления и раскаяния записку. Они спустились с гор на равнину. Сосия запрыгнула на телегу в самый последний момент. Ее не приняли с распростертыми объятиями, но и не оттолкнули.

Они с опаской въехали в обнесенный крепостными стенами порт Зара, ища способа попасть в Венецию, где, как рассказывали грузчики в доках, всегда требуются умелые руки и знания: город был настолько богат, что нуждался в постоянном притоке рабочей силы, дабы поддерживать свое роскошное существование. В тени крепостной стены Зары, украшенной изображением крылатого венецианского льва, отец договорился о проезде с капитаном-греком, который забыл упомянуть о том, что из материковой части города евреев изгоняют.

Серые, словно корабельные крысы, в предрассветных сумерках они сошли на берег в Местре²², откуда в Венецию уже можно было добраться по суше. Вокруг прибывших купцов тут же забурила шумная толпа носильщиков, но на беглецов они бросали столь презрительные взгляды, что те почли за благо немедленно убраться из запруженных людьми доков.

Отец Сосии укрыл их в католической церкви, а сам отправился на поиски работы. Другого убежища от пронизывающего ледяного ветра, дующего со стороны лагуны, попросту не было. Той ночью младшие дети плакали во сне. Со стен церкви на них глядели раздробленные мозаикой на части святые, проникая в их сны и даже, казалось, в пустые желудки. Мрачные фигуры, зловеще нависающие над ними, вскоре превратились в солдат, опустошивших их деревню.

Ночные крики, плач детей и запах мочи из темных углов привели к неизбежному: их обнаружили. Священник, появившийся в полночь, дабы изгнать из церкви вампиров и демонов, застал все семейство забывшимся беспокойным сном на полу перед алтарем.

²² Местре – бывший город, через который исторически осуществлялась связь островов Венецианской лагуны с материковой частью Венето, ныне административным регионом в Италии, разделенным на 7 провинций: Беллуно, Венецию, Верону, Виченцу, Падую, Ровиго и Тревизо.

Их взяли под стражу. *Provveditori della salute della Terra*²³ вызвал Рабино Симеона, доктора-еврея, чтобы тот осмотрел их и выяснил, нет ли у них чумы, вшей и венерических болезней. За исключением Сосии, у всех детей обнаружилось то или иное заболевание, полученное на память о путешествии на зловонной посудине, которая и доставила их сюда. Семье предстояло вернуться обратно на следующем же корабле. Рабино не мог знать о том, что воспоминания, которые они оставили в Далмации, были хуже церкви, хуже венецианской тюрьмы или *lazaretto*. Впрочем, они не оказали сопротивления. На лицах родителей была написана унылая покорность судьбе, свойственная всем приговоренным к медленной смерти, не имеющим ни малейшей возможности изменить к лучшему свое жалкое существование.

Осматривая Сосию, Рабино обнаружил, что выглядит она куда здоровее и упитаннее других детей. Большая буква S на спине тоже заживала на удивление хорошо, хотя он и видел, что рана нанесена совсем недавно. Но девочка упорно отказывалась отвечать на его вопросы, угрюмо глядя себе под ноги, пока он бережно ощупывал шрамы чуткими пальцами. Развернув ее лицом к себе, чтобы послушать легкие, он заметил крошечные груди и наметившиеся бедра, хотя и со странной кривизной. В сердце ее присутствовал легкий шум, но при хорошем питании он должен был исчезнуть. «Настоящее чудо, – подумал он. – У этой девочки есть шанс выжить».

Она открыла рот только для того, чтобы спросить:

– Ты – венецианец, да?

Когда он кивнул в знак согласия, она окинула его оценивающим взглядом. Смутившись, он принялся осматривать ее братьев и сестер.

Поразмыслив, он предложил им взять старшую дочь к себе в дом в качестве экономки и помощницы. Он был готов даже дать им немного денег на обратную дорогу. Но они вернули ему холодные монеты, чуть ли не силой вкладывая их своими исхудавшими пальцами ему в ладонь. Брать деньги за Сосию они не желали.

Очень скоро он понял почему. Девчонка оказалась злой и порочной. Она изгнала из дома служанку, и та ушла, исцарапанная и в слезах. Лавочники боялись ее. Она ела в три горла, словно готовилась умереть, хотя ее грудь и бедра так и остались недоразвитыми. А потом он подметил ее взгляды, способные свести с ума любого мужчину.

Три месяца спустя она вынудила его совершить поступок, о котором он теперь сожалел более всего на свете.

* * *

Именно во время плавания на корабле Сосия научилась использовать свое тело к собственной выгоде. Один моряк показал ей, как можно зарабатывать деньги ртом и руками. Затем нашелся еще один моряк, менее осторожный, чем первый.

Она задавала им всего один вопрос: «Ты – венецианец, да?», и единственными, кому она отказала, были те, кто родился не в городе.

Лишенная материнской ласки, она начала получать удовольствие от жадных матросских рук, шарящих по ее телу; быстро научилась тому, что доставляло им удовольствие и приносило больше всего денег. К моменту прибытия в Венецию она читала желания мужчин так же легко, как пастух предсказывает погоду по облакам. И доктор Рабино Симеон тоже не стал для нее загадкой. Он не привлекал ее так, как матросы, но она не испытывала к нему и отвращения, готовая проделать с ним то же, что и с ними. Она решила, что таким образом компенсирует ему затраты на свое спасение.

²³ Глава муниципального управления охраны здоровья (итал.).

Должность экономки ничуть ее не устраивала. Ожидая, что в любой момент ей придется рассчитываться с Рабино иным способом, Сосия не испытывала к нему ни малейшей благодарности за тот рай, который он предложил ей. В доме в Сан-Трөвазо она вымещала свой гнев на полах, терла окна тряпками с песком, вывешивала ковры на подоконниках и колотила их, как непослушных детей. После того как она стала сначала любовницей, а потом и женой Рабино, у нее появилось больше свободы. К ведению домашнего хозяйства она стала относиться еще небрежнее, и Рабино частенько приходилось самому орудовать на кухне. В те редкие, но нескончаемые вечера в самом начале их супружеской жизни, когда Рабино еще бывал дома, он научил ее читать по-латыни и занимался с нею итальянским.

Муж отпускал ей нервные комплименты, говоря, что поражен быстротой, с которой она схватывает все новое. Казалось, слова откладываются в памяти Сосии без всяких усилий с ее стороны, причем не по одному, а связными фразами. Чем длиннее было слово, тем легче она запоминала его. Рабино не подозревал о том, что она самостоятельно обогащала свой словарный запас, а в его обществе притворялась более глупой, чем была на самом деле. Когда его не было дома, она без устали рылась в его кабинете, выискивая еще непрочитанные тексты, особенно те, которые он полагал неподходящими для нее. Теперь, выучив итальянский, она быстро овладела и венецианским, а это означало, что отныне она могла гулять по городу, завернувшись в тень своей накидки, ища развлечений и дохода на улицах. Даже с желтым кружком на локте Сосия умудрялась снимать физическое напряжение, прибегая к собственным нетрадиционным методам получения эмоционального удовлетворения.

Она торговала собой по сходной цене, с легкостью определяя конъюнктуру рынка и решая, с чем может позволить себе расстаться, поскольку сама была готова заплатить за то, что ей требовалось. Несмотря на опасность, Сосия отказывалась иметь дело с какой-либо определенной мадам или сутенером, предпочитая пополнять запас карманных денег, выискивая клиентов взглядом в толпе. Обычно ее сделки совершались в полном молчании, в переулках, заброшенных домах либо роскошных кабинетах богачей или аристократов. Всем им она задавала свой единственный и неизменный вопрос: «Ты – венецианец, да?»

Заработки свои она тратила на мимолетные удовольствия: спелые персики, пару украшенных драгоценными камнями туфель, носить которые не собиралась, шелковые ночные рубашки, которые надевала не более одного раза, после чего протирала ими склянки и пузырьки в крохотной аптечной мастерской Рабино. Потом она сжигала их. Покупала она и книги, которые обменивала на новые после прочтения. Однажды в лавке ростовщика она приобрела нитку жемчуга. По тому, как они задрожали у нее на ладони, когда она рассматривала их, Сосия поняла, что они таят в себе собственную трагедию. Но в невинном пафосе и заключалась их могущественная сила. Когда она надевала их, то клиенты буквально липли к ней. Жемчуга походили на ряд маленьких затвердевших сосков, которых еще не касалась ничья рука.

Сосию нельзя было назвать настоящей венецианской куртизанкой, обеспеченной и избалованной. Она не получила того образования в искусстве стихосложения и роскоши, которое было у них. Она знала, что такие женщины есть, и даже иногда встречала их на улице. Писец из Вероны Фелис Феличиано как-то объяснил Сосии их принципы: куртизанка обзаводится постоянной клиентурой в лице пяти-шести богатых любовников, каждый из которых может заниматься с ней любовью лишь в один, строго определенный день недели. Остальным временем куртизанка распоряжалась по своему усмотрению – продавала себя или отдыхала от трудов праведных. Фелис Феличиано уверял, что молодые вельможи находят нечто эротически возбуждающее в том, что делят между собой одну шлюху. Кроме того, здесь присутствовал и некий эффект соперничества, посему в спальне они старались проявить себя с наилучшей стороны. Ну а куртизанка, естественно, извлекала из этого одну лишь чистую прибыль, финансовую и физическую.

Но Сосия не вынашивала подобных устремлений. Она предпочитала короткие встречи, как можно более многочисленные. Ей нравилось разнообразие. Чтобы добиться его, она всякий раз старалась предстать в новом образе. Она могла менять выражение своего лица так, что, казалось, обретала совершенно новые черты. Иногда она выходила на улицу настоящей красавицей и находила мужчин, падких на смазливое личико. В другой раз она притворялась уродливой каргой, выискивая тех, кого привлекала подлинная чувственность.

Таким вот образом за первые двенадцать лет своего замужества она свела знакомство с купцами и сенаторами, уличными торговцами и владельцами лавок, пока наконец не встретила с ученым-аристократом Доменико Цорци и неистовым писцом Фелисом Феличиано. Настаивая на разнообразии, она ничего не имела против того, чтобы время от времени повторить пройденное, и, таким образом, некоторые мужчины перешли в разряд ее постоянных клиентов. Но регулярность встреч с ними Сосия всегда определяла сама. От каждого из них она получала разное удовольствие и вела дневник, записывая их имена в три разных столбца: «Золотая книга», «Буржуа» и «Сточная канава».

Благодаря купцам и владельцам лавок она была сыта и хорошо одета. Уличные торговцы и катальщики тележек отличались завидным чувством юмора и нередко были весьма сведущи в искусстве любви. К Доменико она приходила из-за его власти и библиотеки, к Фелису – ради желания обрести то, что нужно всем без исключения. А еще потому, что было в Фелисе Феличиано нечто такое, перед чем не могла устоять даже она, Сосия Симеон, причем меньше всех остальных.

Глава четвертая

...Никто не видит сам, что за спиною носит.

К тому времени, как ему исполнилось девять, единственное, что Бруно по-настоящему помнил о своем отце, – это подушечки его пальцев. Сеньор Угуччионе был музыкантом в личном оркестре дожа, играя на всех видах духовых инструментов, – тихий человек, красноречие которого проявлялось лишь в музыке. Бруно и его сестра Джентилия выросли на любовных мелодиях флейты, которые каждый вечер доносились из-под двери родительской спальни.

В те времена куда больше, чем сейчас, венецианцев отличали подлинные амбиции. Они бесстрашно перемещались по суше и воде. И впрямь, в те горячие деньки, когда империя была молода, земля превращалась в море и наоборот по их желанию – при помощи мостов и ирригационных каналов. Граждане Венеции обращались с морем с фамильярностью, граничащей с пренебрежением, получая взамен уважение, словно от раба или любовницы. Море окружало город, вздымая бесконечные валы, похожие на птичьи грудки, и лишь изредка выбрасывало загребущую руку, утаскивая одного-двух венецианцев в свои изумрудно-зеленые глубины.

Именно так случилось с отцом и матерью Бруно, застигнутыми внезапным жестоким штормом в День мертвых, когда они отправились в маленькой *sandolo*²⁴ на остров Сан-Пьетро в Вольте, чтобы отдать дань уважения трем поколениям предков Бруно, похороненным там.

Тела родителей Бруно вынесло на берег близ Лидо следующим приливом, и лепестки цветов, которые они везли с собой на кладбище, усеивали неглубокую воду, подобно конфетти.

В Венецию из Пезаро срочно прибыли тетя и дядя, дабы решить судьбу двоих детей.

Поначалу дядя собирался увезти их с собой в Пезаро. Но вскоре он уяснил, что, будучи венецианцами, они не смогут жить вдали от лагуны. Когда он объяснил им свои намерения, они непонимающе уставились на него, словно не веря, что где-либо еще, помимо Венеции, существует жизнь. По его мнению, море присутствовало даже в их речи. В беседе они постоянно прибегали к сравнениям с водной стихией; движения их маленьких ручек были плавными и текучими. По-итальянски они говорили с трудом, а он едва понимал их венецианский диалект. На похоронах родителей они держались друг за друга, словно две рыбки, пойманные на один крючок.

Дядя отписал домой собственному отцу (Бруно обнаружил письмо на столе и виновато пробежал его глазами), что намерен отдать племянника в интернат аббата Гуарино. Джентилия должна была поступить послушницей в монастырь Сант-Анджело ди Конторта, который, похоже, являлся лучшим заведением подобного рода в Венеции.

Сант-Анджело прославился совсем по иному поводу, но дядя из Пезаро, действующий из лучших побуждений, ничего не знал об этом. У него просто не было времени навести должные справки в те суматошные дни, когда он разбирал дела своей наивной и неискушенной сестры и зятя. Венеция привела его в ужас: призрачный свет, стремительно проносящиеся отражения, удушливая сырость, византийские манеры жителей. «Сам город похож на куртизанку, надоедливый, приторный, развращенный и сбивающий с толку, – писал он своему отцу. – Чем скорее мы начнем действовать, тем быстрее покинем это тлетворное место. Я тону здесь. Дальнейшее мое пребывание в этом городе становится невыносимым».

²⁴ Одновесельная плоскодонная лодка (*итал.*).

Тетя с дядей расцеловали детей в макушку и обе щеки, доставив их сначала в монастырь, а потом и в интернат. Бруно попросил только об одном одолжении: пусть они отведут Джентилию первой, дабы он мог проводить ее туда и попрощаться с ней на пороге ее нового дома.

В пути никто из детей не плакал и не задавал вопросов.

– Шок, – размышлял вслух дядя, стоя на раскачивающемся носу лодки вместе с уверенно державшимся маленьким племянником. – Это к счастью. У них еще будет время для скорби.

Когда лодка причалила к пирсу на острове Сант-Анджело ди Конторта, дядя обратился к своей жене с вопросом:

– Я поступаю правильно? – Его коренастая племянница влажной ладошкой крепко держала его за руку, и ощущение это было не из приятных. – Ей будет лучше с монахинями, – пробормотал дядя, и его жена согласно кивнула. – В Венеции мужа ей не найти. Она страшна, как синяк под глазом. Вся красота досталась мальчишке.

Бруно посмотрел на Джентилию, надеясь, что она ничего не слышала. Сестра, похоже, не обращала внимания на происходящее вокруг, погрузившись в свои непроницаемые мысли. К счастью, аббатиса в Сант-Анджело ди Конторта согласилась принять ее немедленно. Ни дяде, ни племяннику и в голову не пришло задуматься над тем, почему так случилось.

Молодой лодочник с чертами патриция перебросил сходни с причала на борт, и семейство сошло на берег. Бруно и Джентилия рука об руку промаршировали к клуатру²⁵, где их с холодным радушием приветствовала светловолосая монахиня.

Присев на корточки, чтобы взглянуть в лицо Джентилии, она вдруг фыркнула и резко выпрямилась.

– Надеюсь, она будет хорошей девочкой, – сказала монахиня, легонько шлепнула ее по задку и подтолкнула ко входу с воротами.

* * *

Говорили, что из школы Гуарино вышло больше ученых, чем вооруженных солдат – из троянского коня. Но Бруно ненавидел свое учебное заведение, так что оставалось лишь удивляться, как он вообще получил хоть какое-нибудь образование.

В классной комнате царил хаос. Пока учитель храбро читал отрывки из Эзопа или Цицерона, мальчишки дрались на дуэлях, делали бумажные кораблики, дубасили друг друга грифельными досками, протыкали недругам пальцы карандашами, выставляли задницы из окон, разрисовывали непристойностями свои драгоценные тетрадные листы со стертым прежним текстом и доставали из карманов взъерошенных, растерянно моргающих попугаев.

Каким-то образом, невзирая на подобные развлечения, Бруно преуспевал в учебе. Латынью он владел безукоризненно, а древнегреческий выучил лучше своего наставника. Он во всем стремился к совершенству; неправильно написанное на странице слово резало ему глаз, словно неприятный запах в носу. И лишь почерк не позволял счесть его идеальным учеником. Это была его ахиллесова пята. Тяга к скорости погубила способность писать красиво. Верхние и нижние выносные элементы строчных букв опасно кренились над аккуратными завитушками. Но, стиснув зубы, Бруно постепенно довел свой почерк до приемлемой гармонии, правда, неизменно сожалея о том, что его каллиграфии недостает изящества.

²⁵ Клуатр – прямоугольный или квадратный монастырский двор, окруженный с четырех сторон крытыми арочными галереями. В центре каждой галереи был выход во двор, в котором располагался крест, фонтан или бассейн.

Превратившись из ребенка в подростка, он приобрел исключительно приятную, в отличие от почерка, наружность, хотя и не отдавал себе в этом отчета. Он не замечал, как оборачиваются ему вслед на улице женщины постарше, и не ловил на себе восторженные взгляды девочек-ровесниц.

Каждую неделю он навещал Джентилию на острове Сант-Анджело. Даже став слишком взрослыми для сказок и детских игр, они по-прежнему долгими часами выдумывали истории, в которых им принадлежали главные роли. Бруно, признанный писец, записывал их на бывших в употреблении манускриптах, выводя своим летящим почерком надписи «Том второй, часть третья». Джентилия всегда заканчивала тем, что выходила замуж за брата, и у них рождалось многочисленное потомство.

– Но ведь ты станешь монахиней, – возражал Бруно. – И будешь повенчана с Богом.

– Господь любит всех детей, – упрямо отвечала Джентилия. Выдохнув сквозь плотно сжатые губы, она тяжело переступила с ноги на ногу.

– Но у тебя может их не быть, если ты станешь монахиней.

– У меня будет так много прекрасных детей, что Господь будет гордиться ими и станет любить их сильнее всех прочих, – невозмутимо отозвалась она, сунув в рот прядку волос и сосредоточенно хмуря брови.

Немного погодя Джентилия добавила:

– А если Господь скажет «нет», то я стану ведьмой или куртизанкой.

Бруно встревожился. Одноклассники постарались, чтобы слухи о монастыре Сант-Анджело ди Конторта не прошли мимо его ушей. Он спросил сестру:

– Кто-нибудь пытался трогать тебя? Ты видела что-либо такое, что вызывает у тебя беспокойство?

В ответ на его расспросы Джентилия лишь неизменно отмалчивалась да принималась жевать новую прядку волос.

* * *

В возрасте пятнадцати лет Бруно с отличием сдал все экзамены, и его отправили к дяде продолжать обучение в университете Падуи. Студентом он вновь оказался блестящим. И друзьями Бруно обзавелся тоже блестящими, включая несравненного и эксцентричного писца Фелиса Феличиано, который однажды столкнулся с ним на улице и схватил его за руку со словами:

– Да ты и впрямь самый красивый парень в университете.

Бруно зарделся, поскольку Фелис знали все, и ответил:

– Но мой почерк ужасен.

– Я прощаю тебя, – ответствовал Фелис. – Твое лицо извиняет тебя. Мы станем друзьями. *Близкими* друзьями.

В устах красавчика Фелиса, чье смуглое лицо с безупречными чертами считалось одним из украшений Падуи, это был нешуточный комплимент. Бруно вновь покраснел и целомудренно отвернулся. Когда же он поднял голову, Фелис все еще кивал головой и восторженно улыбался.

Они стали проводить вдвоем все свободное время, совершая вылазки в лес, дабы поупражняться в стрельбе из лука. Бруно в совершенстве овладел этим искусством, хотя домой возвращался подавленным, неся в руках длинные стрелы из молодых побегов, унизанные тушками певчих птичек.

Когда учеба требовала, чтобы Бруно оставался у себя в комнате, на острове Сант-Анджело Джентилию навещал Фелис, принося ей письма и подарки от брата. Бруно и сам отправлялся туда при первой же возможности. Джентилия не выглядела ни счастливой,

ни несчастной, но явно не бедствовала и даже изрядно прибавила в весе. Отороченный кружевами подол ее платья был чистым, волосы расчесаны до тусклого блеска, а пробор был прямым и прозрачным, как ость пера.

Но Бруно утратил способность читать по ее глазам, что всерьез беспокоило его.

– Тебе хорошо там? – озабоченно вопрошал он, хотя раньше не требовалось никаких вопросов.

Джентилия в ответ лишь пожимала ему руку, которую неизменно держала в ладони, и показывала свою вышивку, что-то негромко напевая себе под нос.

* * *

Спустя два года Бруно вернулся в Венецию и стал работать в типографии Иоганна и Венделина фон Шпейеров. Он трудился усердно, жил скромно, общался исключительно с писцами и другими авторами и редакторами; при первой же возможности он ездил на лодке на Сант-Анджело ди Конторта, чтобы повидаться с Джентилией. Это была унылая и строгая жизнь, аскетическая в старинном понимании этого слова, сосредоточенная исключительно на письменном слове, причем слове ушедших веков.

Он жил в относительной бедности, занимая две комнатки над красильной мастерской в районе Дорсодуро. По деревянному полу день и ночь ползали слизняки, оставляя липкие следы. По утрам он приучился осторожно опускать с кровати ногу, ощупывая пол пальцами, прежде чем встать на него всей ступней, чтобы не ощутить мокрый хруст под ногой, вызывавший у него омерзение.

В его комнаты вел отдельный вход, чему он был очень рад. В отличие от большинства жильцов, ему не требовалось проходить сквозь строй любопытных соседских глаз, чтобы попасть к себе в квартиру. Узкая лесенка поднималась прямо с улицы в жилое помещение, принадлежавшее ему одному.

Хотя не совсем одному. У него жили два домашних воробья. Он купил их сразу после того, как впервые услышал знаменитую поэму о воробьях Катутлла, загадочного римского поэта, чьи работы читали только избранные ученые, имеющие доступ к дюжине сохранившихся рукописей. Но захватывающие и очаровательные поэмы обретали известность, передаваясь из уст в уста. Бруно сумел запомнить поэму о воробьях с первого раза, после того как услышал ее в таверне от одного писца. По случайному совпадению в тот же день на рынке Риальто он увидел в клетке двух маленьких птичек среди щебечущей какофонии прочих пернатых. Они жались друг к другу и дышали в такт, словно две половинки одного сердца. Он принес их домой в кармане.

Под заботливой опекой Бруно воробышки ожили и расцвели. В мае того же года они подарили ему пять крохотных яичек пепельно-голубого цвета с коричневыми пятнышками. Он счел это добрым знаком.

Шла весна 1469 года, и в трещинах тротуарных плит пробивались крошечные маргаритки. Бруно исполнилось восемнадцать лет, и Венеция раскрывала ему свои возможности, как любому молодому человеку его талантов и наклонностей.

Глава пятая

*...Но что женщина в страсти любовнику шепчет, В воздухе
и на воде быстротекущей пиши!*

Каждый год Венеция сочеталась браком с морем. В июне неизменно проходила церемония *Sposalizio*²⁶, когда дож vyplывал в лагуну и ронял золотое кольцо в ее молчаливые и податливые глубины.

Взамен море приносило приданое: торговую империю. Оно поставляло берберийский воск и квасцовый камень из Константинополя, меха, янтарь, смолу и пеньку из России, лошадей и пшеницу из Крыма, скобяные изделия и тетивы для луков из Брюгге, бумажную пряжу из Дамаска, черную патоку и засахаренные фрукты из Мессины, кошениль²⁷ из Корона, борное мыло, камфару, гуммиарабик, мелкий неровный жемчуг и слоновьи бивни из Александрии и Алеппо, смородину из Патры. Не было на свете невесты с более богатым приданым. Брак просто обязан был оказаться удачным.

На протяжении многих лет море не допускало никого, кроме венецианцев, к богатым торговым маршрутам в Индию, отбивая все поползновения ее соперницы Генуи.

– Или Венеция, или никто, – гордо говорило море, – даже если сам Господь станет докучать мне просьбами.

Впрочем, так бывает всегда в первые дни бурной страсти!

Со стороны брак казался крепким и успешным, даже взаимовыгодным. И никто не догадывался о том, что обстоятельства меняются к худшему.

Потому что в последнее время море начало строить глазки другим, прислушиваясь к льстивым уговорам испанских и португальских купцов и даже к гортанному говору англичан и голландцев. Турки силой вернули себе Константинополь в 1453 году и уже принялись потихоньку отгрызать, причем в не слишком ласковой и дружелюбной манере, окраины венецианской империи. Албания, Эгейский архипелаг и Кипр начали склоняться перед османским владычеством.

Разумеется, как бывает всегда, у моря были свои причины проявлять неверность.

Подобно любой избалованной супруге, Венеция позволяла себе пренебрегать своим партнером – морем. Городские вельможные купцы настолько обленились, прозябая в неге и роскоши, что едва могли заставить себя оторваться от своих обитых бархатом гондол, чтобы перейти на борт рабочей галеры. Их редко можно было увидеть торгующими на мосту Риальто, поскольку занятие сие они перепоручили предприимчивым представителям среднего класса. В долгие океанские вояжи они отправляли не своих сыновей, а деньги: они охладели к морю. Да и сама Венеция не отличалась особенной верностью по отношению к партнеру. Вступив в брачный союз с водой, Венеция так никогда и не расставалась окончательно с планами покорения суши. На протяжении четырнадцатого и пятнадцатого веков продолжалась вражда и плелись изощренные интриги. Феррара, Пиза и остатки старого королевства Неаполя уже попались на глаза Венеции, хотя и не стали пока ее сателлитами. Венеция еще не отваживалась на открытую измену, но уже склонялась к ней.

Связанные узами длительного и давнего брачного союза, Венеция и море все еще вели себя, как пожилые супруги, проводившие вместе всю жизнь. Они лениво или рассеянно приглядывали друг за другом. В определенном смысле маленькие измены лишь разжигали пламя ревности, которая пришла на смену прежней пылкой страсти. Они ссорились и волновались

²⁶ Бракосочетание (Венеции с морем) (*итал.*).

²⁷ Кошениль – природная красная краска из тлей.

из-за пустяков, потеряли уважение, и лишь время от времени им еще удавалось удивлять друг друга. Они стали привозить друг другу трофеи.

Они свели вместе Сосию Симеон и Бруно Угуччионе, которые встретились на воде, как бывает в доброй половине случаев в Венеции, когда происходит столкновение умов, тел или душ. То, что это случилось во время снежной бури, можно, пожалуй, расценивать как первое легкое предупреждение, сделанное им морем и городом относительно того, чем все может закончиться.

* * *

Холодным утром 7 марта 1469 года *traghetto*²⁸ отправился в свой обычный путь от Сан-Тома к Сант-Анджело: именно здесь и встретились взглядами две пары глаз, одни – желто-зеленые, другие – светло-карие, выделяющиеся на бледных лицах подобно набухшим почкам на тонких стеблях. В те дни венецианцы, ремесленники и купцы одинаково одевались в черное круглый год. И лишь сенаторы, наподобие Николо Малипьеро, отдавали предпочтение красному цвету. Любопытный эффект черного облачения заключался в том, что оно придавало любому лицу дополнительную выразительность. Поскольку одежда превратилась фактически в униформу, индивидуальность черт каждого человека буквально бросалась в глаза.

Сосия улыбнулась Бруно одними глазами – желтый вспыхнул на зеленом, – чтобы привлечь его внимание.

Бруно в низко надвинутом на лоб *bareta*²⁹ ничем не отличался от других венецианцев, разве что был куда привлекательнее.

«Славный мальчик, – подумала Сосия, – замечательные ресницы и красивые губы».

Ей понравилось, что его веки слегка отливают сиреневым. Губы его выглядели так, словно были во всех подробностях прорисованы на картине кого-либо из старых мастеров. Его черная накидка была запахнута на груди и схвачена у горла светлым бантом. Над воротником виднелся краешек белой сорочки, ярко оттенявшей начинающую проступать щетину на подбородке. Опытным взглядом окинув складки на его накидке, она поняла, что под ней он носит панталоны и *zipon*, облегающий жакет до пояса. Рукава его раздувались, подобно колоколам, а на плечи он накинул длинный шарф.

«Да, – подумала Сосия, – этот смазливый молодой человек – наверняка *borghese*, буржуа». Дома, мысленно представила она, глядя на него, у этого мальчика есть еще три костюма – с мехом куницы, белки и горноста – и тонкий шелк для лета. Она потянула воздух носом: «Он не настолько беден, чтобы пахнуть улицей, но и не может позволить себе мускус и циветту, чтобы уберечь себя от ее запахов». Она решила, что у него есть одна или две сестры где-нибудь в монастыре, а еще одна наверняка вышла замуж за какого-нибудь мелкого аристократа.

Сосия тоже была одета в черное. Это был самый безопасный наряд для прогулок по городу для той, кто хочет привлечь к себе внимание, только когда ей это нужно. Под накидкой на ней было роскошное платье, о существовании которого ее супруг Рабино даже не подозревал, – с высокой талией и низким вырезом. Рукава же его представляли собой настоящее произведение искусства с кружевными парчовыми вставками, в прорези которых выбивались фонтанчики ткани ее нижней сорочки, похожие на пар от дыхания в холодный день. Волосы она уложила спиралью на затылке, а спереди на лоб падала густая завитая

²⁸ Паром (итал.).

²⁹ Берет (итал.).

челка. Если только она не занималась своей весьма специфической разновидностью коммерции, то глаза держала опущенными долгу.

Во второй раз она улыбнулась уже губами. Бруно покраснел. Он и надеяться не смел, что ее первая улыбка предназначалась ему: но теперь ее взгляд был, вне всяких сомнений, устремлен прямо на него.

Сосия подумала: «Ага, девственник, какая прелесть. Даже не знает, как мне ответить».

Ее потянуло к Бруно с первого же взгляда, и это чувство было ей незнакомо. Оно пробудило в ней живейший интерес. По выражению его лица она поняла, что он добр. Движения его подсказали ей, что он быстр и нежен. Да, его стоит соблазнить, решила она, уже вполне представляя, чем все закончится, хотя и предвкушая удовольствия новой любовной *storia*³⁰.

Она вновь улыбнулась и на сей раз заговорила, а Бруно заметил желтую эмблему, которую она приколотла к изнанке рукава. Подобное открытие ошеломило его, но было уже поздно. Она придвинулась к нему поближе.

С сильным иностранным акцентом, четко отделяя гласные и согласные звуки, а потом будто сталкивая их, она сказала:

– На ваших руках лежат снежинки, *signor*³¹.

Это было правдой. Пока *traghetto* пробирался по каналу, пошел сильный снег. Все венецианцы, застывшие в неподвижности на палубе черной лодки, были уже покрыты снегом, словно статуи. У Бруно перчаток не было, и он прижал стиснутые кулаки, похожие на маленькие алебастровые чаши, к бокам. Снежинки ложились во впадинки между его побелевшими пальцами, покрытыми пятнами, и не таяли.

Глаза их встретились. Он робко улыбнулся, а потом идиотская ухмылка стала шире, растягивая губы. «Словно конькобежец расписался на льду», – подумал он. Он молчал, просто не зная, что сказать, и смущенно опустил голову. «С чего бы это такая женщина вдруг обратилась ко мне? Именно такая, чужестранка, еврейка, скорее всего, куртизанка, но очень красивая. У нее золотистая кожа и потрясающий разрез глаз».

Когда он поднял голову, она уже исчезла. Как бы то ни было, он так и не придумал, что сказать ей. Ее уход вызвал в нем щемящее чувство потери; его охватила смесь жаркого сожаления и замешательства из-за собственной беспомощности, и он даже почувствовал облегчение. Он был совершенно уверен в том, что незнакомая еврейка олицетворяла собой то постыдное эмоциональное возбуждение, которым так славилась Венеция и которого ему до сих пор удавалось избегать.

Он опустил взгляд на руки, ища снежинки, о которых она говорила. Но после странного столкновения с этой женщиной, от которой пахло чем-то незнакомым, они тоже растаяли, словно оказались не в силах вынести исходящий от нее жар, когда она придвинулась к нему.

Сосия сошла на берег раньше его и, прижавшись к стене, затаилась в воротах, пока Бруно, погруженный в свои мысли и глядевший на руки, не прошел мимо.

Затерявшись в толпе, она следила за ним до места его работы, *Fondaco dei Tedeschi*³², неподалеку от деревянного моста у Риальто. Она знала, что это большое квадратное здание служит гильдией для немецкой диаспоры в Венеции и постоянным двором для прибывающих в город тевтонских купцов. Они знали и уважали Рабино, частенько вызывали его к себе, дабы он пользовал германцев, пострадавших от тягот нелегкого пути через Альпы.

Но молодой человек ничуть не походил на северянина, да и одет он был совсем иначе; значит, он просто работает на них, как и многие другие. Не исключено, что он – *sensale*³³,

³⁰ Здесь: интрижка; история (итал.).

³¹ Синьор, господин (итал.).

³² Немецкий товарный склад (итал.).

³³ Агент, маклер, посредник (итал.).

один из тех, кто наставляет немецких торговцев и выкачивает из них налоги, присваивая изрядную толику себе. Но этот мечтательный молодой человек ничуть не походил на счетовода, да и вообще не отличался процветающей внешностью того, кто занимает прибыльную должность *sensale*.

Вслед за ним она миновала первый открытый двор, уже гудящий от гортанных возгласов рослых немецких и швейцарских купцов, которые вели переговоры, пока их аккуратные и строгие слуги терпеливо ожидали своих хозяев на сводчатых галереях. Определить, кто из них пробыл в Венеции достаточно долго, было легко: во время разговора они жестикулировали, тогда как вновь прибывшие держали руки чуть ли не по швам. Затворы шлюзов были открыты. Мужчины таскали ящики, в которых гремела оловянная посуда и железные инструменты. Вдыхая, канал приносил с собой запахи пива и сосисок, долетавшие с кухонь, словно знак благосостояния. Сосия приблизилась к колодцу в центре тихого второго дворика и медленно обошла его по кругу, глядя вверх.

Своей архитектурой здание напоминало театр или зал судебных заседаний. Она живо представила себе мужчин, сомкнутыми рядами сидящих на сводчатых галереях у нее над головой. Молодые люди наверняка бы не удержались от того, чтобы не помахать ей и улыбнуться. Мужчины постарше смотрели бы на нее с видом искушенных знатоков, в которых интерес пробуждается лишь при мысли о том, чтобы испробовать нечто доселе неизвестное. Найдутся и те, кто уставится на нее прищуренными глазами, похожими на бойницы старинных замков, и на кого она не произведет никакого впечатления.

Бруно поднялся по одной из четырех лестниц и исчез, посему она прислонилась к колодцу и стала высматривать его меж колонн. Руки ее, сложенные за спиной, нащупали морду крылатого венецианского льва: камень обрел бархатистую гладкость от прикосновений крепких ягодич тысяч германцев, что опирались на него.

Она заметила гладкую щеку Бруно, промелькнувшую между двумя арочными проходами, подошла к нижней ступеньке ближайшей лестницы и взбежала по ней, не поднимая глаз. Перед ней возник какой-то мужчина. Он с любопытством взглянул на нее, но она не дала ему времени на размышления, а быстро прошла на следующий этаж. Она не обращала внимания ни на кого, кроме своей добычи: черная накидка юноши исчезла за углом.

Следуя за ним на расстоянии десяти шагов, она позволила ему войти в открытую дверь. Затем она появилась у входа сама и остановилась в тени. Из своего укрытия она увидела группу мужчин, человек десять, сгрудившихся вокруг какого-то металлического аппарата, размерами и видом напоминавшего ручную тележку; один мальчишка уносил печатные листы, усеянные черными рядами букв; двое мужчин склонились над металлическими прямоугольниками, а еще один размешивал в котле какую-то угольно-черную жидкость. Кто-то накрыл металлическую пластину одеялом, и раздался сочный шлепок, словно большую рыбу свалили на стол.

Над дверью она заметила надпись, вырезанную на доске вишневого дерева. «ИОГАНН И ВЕНДЕЛИН ДА СПИРА» – прочла она, и имя показалось ей знакомым.

Из раскрытой двери повеяло резким запахом, и это вырвало ее из задумчивости, напомнив о молодом человеке, ради которого она и пришла сюда.

«Вот, значит, чем он занимается, – подумала она, – этот славненький молодой человек».

Глава шестая

...Мнится мне, он бог, а не смертный образ, Мнится, пусть грешно, он превыше бога: Близ тебя сидит, не отводит взора, Слушая жадно Смех рокошующий этих губ. А мне-то Каково терпеть! Чуть, бывало, встречу Лесбию – душа вон из тела. Слово Вымолвить трудно. Нем язык. Дрожь бормочу. Под кожей Тонким огоньком пробегает трепет, И в ушах звенит, и в глазах темнеет – Света не вижу.

– Господин доктор, – сказала Сосия, подав на завтрак серую кашу из кукурузной крупы, едва сдобренную подливой. – Вы должны иметь бумаги, на которых были бы указаны ваше имя и адрес. Состоятельным клиентам очень понравились бы такие подробности. А вы заработали бы больше денег. Они предпочитают дорогие болезни, лечение которых длится дольше.

Рабино, на чьих руках ночью от чумы умерли двое ребятишек, поднял усталые глаза и взглянул на нее. Почему ее образ в последние дни двоится и расплывается? Интересно, неужели этот отвратительный запах когда-то казался ему привлекательным? Он не мог понять, что она говорит ему своим похотливым голосом. Почему у всего, что он ест, такой странный металлический привкус? Она была его женой, но не казалась даже членом семьи. Она неизменно величает его «господин доктор», ни разу не назвав по имени – Рабино. Даже прикасаясь к коже своих пациентов, он чувствовал большую близость.

– Я никогда не слыхал ни о чем подобном, дорогая, но если ты полагаешь, что это важно... – Он ощущал необходимость быть с ней вежливым, дабы компенсировать отсутствие подлинных чувств.

Она сказала:

– Я все устрою. С одной стороны будет надпись по-венециански, с другой – по-латыни.

– Очень хорошо. А теперь... я должен идти. У матери этих двух детей под мышкой образовался бубон³⁴. Она пыталась скрыть его от меня, потому что не хотела отвлекать мое внимание от детей.

– Христиане? – поинтересовалась Сосия, сморщив нос.

– Обычные люди, Сосия, и они страдают.

– Они могут заплатить?

Рабино солгал:

– Они уже дали мне денег для аптекаря.

– Тогда отдай их мне. Я потрачу их на твои бумаги.

Денег у них не было. Рабино собирался сам заплатить аптекаря. Или обменять кое-какие из своих трав на *prezioso liquore*³⁵, *triaca*³⁶, на которую столь безосновательно полагались многие венецианцы. Он хотел обратиться к Струццо на Мерсерии, или к Карро во Фреццарии, или к Фенису в Сан-Люке, а при необходимости – и ко всем остальным, чтобы помочь молодой матери.

Он представил себе долгую прогулку на холоде и циничные лица, обращенные к нему: Фирконе, Сирена, Лилия, Яблоко или Солнце. Аптекари Венеции любили выдумывать себе поэтические имена, чтобы вплести кружево заклинаний в магическую формулу своих благоуханных снадобий. А если они не помогут ему, то всегда можно обратиться в лавки помельче, где ему пойдут навстречу в обмен на час-другой его времени, проведенный с их пациентами,

³⁴ Бубон – воспаление лимфатического узла, обычно пахового или подмышечного.

³⁵ Драгоценная влага, жидкость (итал.).

³⁶ Панацея (итал.).

или же письменное предписание скептически настроенному клиенту благородных кровей. Имя Рабино Симеона кое-чего стоило в Венеции, невзирая на его национальность или же, напротив, благодаря ей. В обстоятельствах крайнего порядка многие благородные венецианцы привыкли больше полагаться на быстрых и незаметных врачей-евреев, чем на собственных модных и словоохотливых лекарей.

Сосия протянула ему руку через стол. Рабино незаметно отодвинулся, чтобы она даже случайно не коснулась его.

– Как-нибудь потом, дорогая. На этой неделе мне предстоят и другие медицинские расходы.

Он поспешил прочь, позабыв свою поношенную шляпу на столе. Сегодня днем солнце и ветер напекут ему голову. Сосия не напомнила ему, чтобы он захватил ее.

– Ты жалок, – сказала она, обращаясь к шляпе, после чего принялась убирать со стола.

Бокалов было много. Вчера вечером Рабино собрал кворум из десяти мужчин, чтобы помолиться. В самой Венеции синагоги до сих пор не было, а те, что имелись на материке, находились слишком далеко, чтобы в них мог бывать врач, имеющий обширную практику. Поэтому символы их веры были собраны в одной из комнат дома доктора, и все деловые люди еврейской национальности, получавшие пятнадцатидневный допуск в Венецию, знали, что всегда могут прийти к Рабино Симеону в Сан-Тровазо за утешением их веры или помощью самого доктора во врачевании прочих телесных недугов.

Сосии полагалось содержать их бумаги в порядке, ведя записи на листах, которые Рабино иногда покупал по дешевке у продавца канцелярских товаров. Среди этих грубых стопок она иногда прятала и свой журнал, который являл собой куда более элегантный документ, переплетенный в темно-красную кожу, со страницами из лучшей бумаги с водяными знаками Болоньи. Его подарил ей Доменико Цорци, решивший, что Сосия увлекается поэзией и что она даже может сочинить несколько строчек сама. Ему и в голову не могло прийти, каким образом она использует его подарок.

Она открыла его в то утро и нашла столбец, озаглавленный «Буржуа». В нем она провела две линии, оставив между ними пустое место, чтобы сделать новую запись.

* * *

Сосия убрала со стола, прополоскала рот, умылась, плеснула водой между ног и зашагала к *Fondaco dei Tedeschi*.

Было еще так рано, что солнечные лучи не успели запятнать туманное подбрюшье расвета на горизонте, и ни одна лодка не нарушала покоя расплавленного жемчужного зеркала канала.

К тому времени, как она оказалась на другом *riva*³⁷, солнце уже поднималось над черной изломанной линией конька крыши постоялого двора, украшенной фигурными элементами. Она знала, что в одной из больших комнат этого здания уже бодрствует юноша с сиреневыми веками и шелковистыми ресницами. В нем чувствовалась безошибочная хрупкость ранней пташки: наверняка он уже занят делом.

Она подняла руку, прикрыв ею глаза от солнца. Это движение, подчеркнувшее грудь, мгновенно вызвало дружный хор восклицаний у шедших навстречу лодочников. Одни ритмично захрюкали, словно уже представляя, как совокупляются с нею; другие принялись расхваливать свое мужское достоинство, сопровождая слова характерными движениями бедер. Третьи кивали ей и улыбались с ободряющей фамильярностью. Четвертые окинули ее апатичными взглядами, какие бывают у мужчин после соития, словно не сомневаясь в том,

³⁷ Берег (итал.).

что им предстоит заняться с ней любовью. А еще один выразил ей свое повышенное внимание гримасами боли: как она могла лишить его своего общества хотя бы на мгновение? Последний из них, высокий, с огромным брюхом, попросту во всю ширь раскрыл рот, показывая, с какой жадностью готов проглотить ее всю целиком – за один присест!

Она не рассердилась, прекрасно зная, что олицетворяет собой непреодолимый соблазн: женщина, бесстыдно одинокая на рассвете, непременно должна оказаться шлюхой, мягкой и сладкой после целой ночи плотских утех с клиентами, пахнущей потом и семенем дюжины мужчин.

«В другое время все могло быть именно так, – подумала Сосия, – но только не сегодня».

Когда она найдет Бруно, то станет для него той женщиной, которую он хотел встретить. Поэтому она надела маску, которую считала наиболее подходящей случаю: сладкая покорность, удивленная неожиданным желанием. Сохраняя на лице выражение этой трогательной борьбы, она пересекла мост, направляясь к зданию *Fondaco dei Tedeschi*.

Когда она вошла в *stamperia*³⁸, первым ее приветствовал именно Бруно. Он работал за своим столом с самого раннего утра, с головой уйдя в какой-то манускрипт. Завидев ее на пороге, он вскочил.

– Вы? Я хотел сказать, *Signorina*³⁹, я могу вам помочь?

– Да. – Она не стала поправлять его. У нее еще будет время сообщить ему, если в том возникнет надобность, что она замужем.

Она шагнула к нему, и ее фигурку окутало пламя солнечного света. Позади нее в окнах расплавленным серебром сверкал и переливался Гранд-канал. Бруно показалось, что в комнату внезапно заглянул рассвет и разогнал тени, которые испуганно разбежались по углам. Столы, стулья и даже печатный станок окутались сверкающими пыльными ореолами. Сосия вдруг остановилась и замерла в круге света, и ее темный, почти черный силуэт нарушил очарование волшебства. Казалось, тело ее буквально впитывает сияние нарождающегося дня. Бруно тряхнул головой, пытаясь разглядеть выражение ее лица, но попытка оказалась безуспешной.

Из черноты до него долетел ее голос с сильным иностранным акцентом, холодный и слегка шершавый, как песок в часах, отсчитывающих мгновения вечности.

– Ты – печатник, правильно? Меня зовут Сосия Симеон. Мне нужны маленькие листы бумаги. На них должно быть напечатано имя и адрес.

«Сосия? – подумал Бруно. – Сосия⁴⁰ означает “двойное изображение”. Ни одна итальянка не назовет так своего ребенка. Разумеется, она ведь родом не из Италии». Он спросил себя, а известно ли самой Сосии зловещее значение ее имени на итальянском. На его языке она разговаривала свободно; значит, оно должно быть ей известно. «Почему же она не сменила его на что-либо более приемлемое?»

Сосия подошла к нему вплотную. Она выступила из своего кокона солнечного света, но золотистые пылинки по-прежнему лежали на ее плечах.

– Ты можешь мне помочь с ними?

– Да, конечно, – с поклоном ответил Бруно.

«Разумеется, могу. В общем-то это – не моя работа, но я знаю, как сделать то, что ей нужно. Кроме того, сейчас здесь нет никого, кто мог бы помочь даме, кроме меня. Просьба – вполне разумная, а идея – хорошая, пусть и необычная, да и само ее присутствие здесь – это подарок судьбы, что часто случается в любом городе, да и в Венеции тоже», – сказал он себе, ежась от той легкости, с какой ложь слетела с его губ. Ему даже не пришлось в голову

³⁸ Печатный цех (итал.).

³⁹ Синьорина (итал.).

⁴⁰ Двойник (итал.).

задуматься над тем, что она делает здесь в седьмом часу утра, когда любой приличной женщине полагается быть дома.

Вот так все и началось. Бруно убедил Венделина в том, что они могут выполнить ее заказ, пусть даже в качестве пробной партии для изучения возможного нового рынка, хотя сам печатный пресс был чудовищно велик для тех крошечных листиков, что были ей нужны.

Несмотря на свои малые размеры, листочки потребовали скрупулезной и тщательной работы. Они часто совещались по утрам, причем она старалась прийти пораньше, чтобы застать Бруно одного. Сначала следовало изготовить оттиск, а потом уже переделать его так, чтобы он соответствовал творческим идеям синьорины. Она была почему-то очень озабочена поиском наиболее удачного сочетания прописных и строчных букв, равно как и выбором бумаги. Бруно еще не приходилось встречать мужчин, не говоря уже о женщинах, которые не то что разбирались бы, а хотя бы задумывались о подобных вещах. Гарнитура шрифта не слишком интересовала даже его коллег. Ей приходилось стоять рядом с ним вплотную, пока он сам отчего-то вдруг ставшими непослушными в ее присутствии руками устанавливал буквенные формы и прокатывал оттиски. Она стояла настолько близко, что он ощущал ее запах.

Во время этих утренних совещаний он заметил, как быстро Сосия делает все, за что берется: как стремительно она двигается, говорит и думает.

– Ты ведь венецианец, да? – однажды, в самом начале их совместных бдений, поинтересовалась она и тут же, без паузы, сменила тему.

В этом она была похожа на него, поскольку, еще учась в школе, он с необычайной легкостью, с налета усваивал все, оставляя далеко позади своего лучшего школьного друга Морто. Фелис вечно просил его:

– Помедленнее, Бруно. Наслаждайся и получай удовольствие. Не спеши.

Но это было не для него. Временами и Венеция была слишком медлительной для него. Ему казалось, что она никуда не торопится, намеренно отстает и даже хватается его за лодыжки, когда он быстрым шагом пересекал город. Бежать же было решительно невозможно; она неизменно подставляла ему подножку, заставляя спотыкаться. С нетерпением, которого больше никто не мог понять, он смотрел, как разглаживаются на песке птичьи следы после отлива. И подобное совпадение их жизненных ритмов заставило его ощутить еще большее родство и близость с Сосией. Очень немногие разделяли его порывистую стремительность.

Но от Сосии отставал уже сам Бруно, потому что боялся. Его воображение вело непрерывную борьбу с хорошими манерами; ему отчаянно хотелось задать ей такие вопросы, которым не было места в исключительно деловых взаимоотношениях. Лишь десять дней спустя Бруно отважился на то, чтобы попытаться обиняками выяснить степень ее родства с доктором Симеоном, для которого он готовил печатные оттиски. Разумеется, Бруно слышал о докторе, как и о том, что он славится очень умелым и добрым врачом, хотя никогда не встречался с ним и не знал ничего о его семейном положении.

– Ваш отец предпочитает... – запинаясь, начал он.

– Мой муж, – коротко поправила его Сосия. – Хотя, разумеется, он намного старше меня.

Она взглянула на него, читая по глазам Бруно ту трагедию, что разыгралась у него в душе, с такой же легкостью, с какой гадалка ворожит над внутренностями. «Ага, – подумала она, подметив выражение мучительной боли на лице юноши, – все зашло очень далеко, куда дальше, чем я могла надеяться. Он очень мил, этот мальчик. Что ж, я помогу ему».

Она сказала:

– Едва ли я могу судить о том, что ему нравится; в сущности, я совсем не знаю его. Это был... брак по... – В притворном смущении она потупилась, но потом сделала вид,

будто быстро взяла себя в руки. С вызовом пожав плечами, она добавила: – Я бы предпочла получить твой совет в таком важном деле. В конце концов, ты – чуткий и восприимчивый мужчина, который понимает печатное слово и его влияние на людей. Мой же супруг имеет дело исключительно с больными и умирающими, да и использует только руки. – Она деланно содрогнулась.

«И этими руками он касается тебя», – подумал Бруно, ужасаясь непристойности собственных мыслей. В этот раз он не мог дожидаться, когда же она наконец уйдет. Для него это было слишком. После ее ухода он повалился на пол и прижался щекой к холодному мрамору. На виске у него вздулась и отчаянно пульсировала жилка, а в живот словно бы насыпали горячих углей. Он крепко зажмурился, и перед глазами у него заплескали яркие желто-зеленые круги; он приподнял веки, но они не исчезали. Бруно долго пролежал так, пока топот ног на лестнице не возвестил о приходе коллег.

Но образы, возникшие в эти минуты в его воспаленном воображении – Сосия в объятиях своего старого доктора-еврея, – прогнать оказалось не так-то легко.

* * *

Они изготавливали все новые и новые оттиски. Как только ему начинало казаться, что дело близится к завершению, что вот еще один последний штрих, и все будет готово, Сосия совершала резкий поворот, меняя направление. Это была не просто доработка стиля или выразительности; каждый день Сосия сама бывала другой. Иногда она приходила к нему поникшей, смиренно принимая все его замечания. В такие минуты Бруно казалось, что она готова упасть ему в объятия, которые он страшился предложить ей. Она словно ощущала, как его невысказанное желание тяжким бременем ложится ей на плечи. В другой раз она представляла перед ним стремительной и дерзкой: требовательной, самоуверенной, возбуждающей. Она нетерпеливо барабанила пальцами по столу и говорила быстро, уголком рта. Однажды, резко потянув на себя лист превосходной веленовой бумаги, она оставила ему длинный порез на запястье. Он был уверен, что она сделала это нарочно, и с благоговением поглаживал рубец, пока тот наконец не затянулся.

Однажды утром, выдергивая образцы один за другим из стопки бумаги, она вдруг наступила на край своей накидки, споткнулась и ударилась головой о деревянную полку. Оглушенная, она покачнулась и едва не упала. Бруно, стоявший рядом, еле успел подхватить ее. Каким-то образом она умудрилась навалиться на него так неловко, что прижалась губами к его губам. Рот ее приоткрылся, и она коснулась его губ языком. Она оставалась совершенно неподвижной – похоже, лишилась чувств, и Бруно, дыша ей в открытый рот, ощутил, как его влажный жар проникает в нее. Его руки беспомощно заскользили по ее спине, касаясь волос, не зная, где остановиться и как поддержать ее. Казалось, его губы приняли на себя весь вес ее тела, сколь бы малым он ни был.

Они надолго замерли в таком положении, пока Сосия медленно не опустилась на колени. Губы ее заскользили по его подбородку, шее и груди, уткнувшись наконец ему в пах. Нос ее уперся ему в лобковую кость. Он потрясенно прошептал: «Святой Боже!» – потому что она в любой миг могла очнуться и ощутить, как сокрушительно действует на него столь непосредственная ее близость.

Он быстро опустился на колени, взял ее за плечи и слегка отстранил от себя, чтобы видеть ее лицо. Голова ее поникла, как тяжелая гроздь винограда на черенке лозы. Одной рукой он запрокинул ей лицо. Он уже слышал топот ног на нижних этажах. В любой момент дверь могла распахнуться, и в комнату с шумом и стонами ввалились бы ученики, чтобы начать новый трудовой день.

– Сосия! *Signora* Симеон! – отчаянно зашептал он.

Она пробормотала нечто нечленораздельное и неразборчивое на родном языке. Глаза ее оставались закрытыми: трепещущие ресницы лежали на щеках. Бруно бережно погладил их одним пальцем. При этом первом контакте с ее кожей его пронзила сладкая дрожь, и он, как ребенок, боязливо втянул голову в плечи.

– Очнитесь! – взмолился он. – Сюда идут.

Взгляд его испуганно метнулся с ее лица к двери.

Но Сосия уже пришла в себя, пристально глядя на него своими желто-зелеными глазами.

– Где ты живешь, Бруно Угуччионе? – хрипловатым голосом спросила она, впервые обратившись к нему по имени. – Надеюсь, ты живешь один?

Глава седьмая

*...Но что ты не вдовцом проводишь ночи, Громко ложе твое
вопиет венками И сирийских духов благоуханьем; И подушки твои,
и та, и эта, Все во вмятинах, а кровати рама И дрожит, и трещит,
и с места сходит.*

Если их сухопутные родственники привыкли проводить брачные ночи в рощицах и на полях, то венецианцы – по своему обыкновению, отказавшиеся от природы или вздумавшие улучшить ее, – предпочитали для такого действия гондолы, выдолбленные из ствола цельного дерева, отделанные искусной резьбой и ярко раскрашенные, с подушечками и занавесями, доведенные до совершенства. Состоятельных влюбленных можно было отличить по их стройным лодкам, грациозно покачивающимся на воде с носа на корму и с борта на борт. Те же, кто был слишком беден, чтобы купить себе час любви на палубе гондолы, преследовали своих пеших возлюбленных, настигая их в укромных уголках в безлунную ночь.

Или приглашали их к себе домой, где и открывали им свои сердца.

Бруно понимал, что Сосия причинит ему боль, но все равно распахнул перед нею двери. Короткий стук, и она появилась на пороге, подбоченившись и заглядывая ему через плечо, дабы оценить размеры и удобство его квартирки. Накидку ее покрывал снег, и она резким движением стряхнула его. Снежинки попали ему на лицо, холодные и острые, как иглы.

Пока дверь оставалась закрытой, он чувствовал себя почти в безопасности. Его чувства к ней были заперты в каменном мешке его комнат, заколоченные досками и замазанные несколькими слоями краски. Но он по собственной воле подошел к двери, откликаясь на ее повелительный стук, и охотно впустил ее в свою жизнь. Он понимал, что с этого момента его существование обретет оттенок нереальности, превратившись в кошмар, вроде бесконечного полета на спине морской птицы в глухую полночь. Он станет жить полной жизнью, забыв о страхе смерти. Он наконец-то познает на собственном опыте то, о чем пишут в поэмах.

Бруно много раз прокручивал в голове эту сцену. Он представлял, как, перешагнув порог, она падает ему в объятия, дрожа от собственной смелости. Он воображал, как гладит ее по голове, целует кончики пальцев, а потом складывает ее руки вместе, словно молитвенным жестом, после чего наигрывает ей на отцовской флейте трогательную мелодию при свече, глядя, как нежность переполняет ее глаза, как всегда бывало с матерью, стоило отцу начать играть ту же музыку. Он долгими часами лежал без сна, решая, как именно будет целовать ее глаза, и наконец остановился на том, что трижды коснется каждого века неведомыми поцелуями. Он уложит ее на тюфяк, опустится рядом на колени, но на благоговеющем расстоянии, безмятежно глядя на нее влюбленным взглядом, дабы вселить спокойствие. Затем он ляжет рядом с ней и укроет обоих одеялом, чтобы согреть их трепещущие руки и ноги. Наконец, он медленно обнимет ее одной рукой, потом другой, прижав ладони к ее бокам и без вульгарной спешки совлекая с нее одежду. Потом он заговорит с нею, перемежая поэтические строчки собственными уверениями в любви. В этих видениях Сосия лежала, нежно и робко прильнув к его груди, пока он, медленно и исподволь, убеждал ее в чистоте своих намерений, и она в конце концов покорялась ему, зардевшись и не поднимая глаз, когда он прижимался губами к ее губам.

Все вышло совершенно иначе.

В тот день, когда Сосия впервые пришла к нему, она протиснулась мимо него в комнату и напрямик направилась к аккуратно застеленному соломенному тюфяку на полу. С улыбкой

взглянув на него, она развернулась к Бруно и протянула руку. Приложив правую ладонь к его щеке, она провела языком по его верхней губе, а левую сунула ему в штаны. Рука ее оказалась холодной и немного влажной, как будто ее сначала сварили, а потом сунули в подсоленную воду охладиться.

— Очень хорошо, — сказала она, смыкая пальцы вокруг его плоти. — А теперь в постель, господин редактор.

И она увлекла его на тюфяк.

* * *

Сосия привыкла к самым разным постелям, начиная от грязных тряпок на полу в подвалах и заканчивая ложем благородного вельможи Николо Малипьеро, отличавшимся невиданной роскошью: оно состояло из двух тюфяков, уложенных друг на друга и укрытых ярким атласом. Это ложе имело семь футов в длину и шесть в ширину, а его полог зеленой парчи состоял из восьми занавесок столь тонкого маркизета, что они колыхались при каждом вдохе. Подзор кровати был из серебряной парчи, украшенной вставками бархата и отороченной переливчатой тафтой с шелковой бахромой. Крепился он длинными золотыми обручами и позолоченными пуговицами. Спереди ложе украшал занавес ярко-алого атласа, расшитый шестью плюмажами из двух дюжин страусовых перьев разной окраски каждый, усыпанных блестками. Покоился сей шедевр на возвышении, изголовье и изножье которого были сработаны из полированного дерева, позолоченного и инкрустированного резьбой. Летом покрывалом служил стеганный атлас оранжевого цвета с подкладкой из шелковой тафты чуть темнее верха. Зимой на ложе покоилось покрывало из атласа и бархата, подбитое тремя видами меха.

У разных мужчин были и разные кровати. Сосия считала себя составительницей каталогов преобладающих стилей — скромной и неброской *Lit a Alcove*⁴¹, *Lit en Baldaquin*⁴² у стены, *Lit en Baignoire*⁴³ со встроенной ванной и маленьким бельевым сундучком. Но более всего ей нравилась *Lit Batard*⁴⁴ со всеми принадлежностями, помпезностью и пышностью огромной кровати, но исполненными в уменьшенном масштабе. Владелец этой кровати, коротышка-купец из квартала Кастелло, выглядел в ней мужчиной нормальных пропорций. А ведь он и впрямь оказался мужчиной в полном смысле этого слова, вспомнила она. Однажды ей довелось ублажать Корнаро из «Золотой книги» на *Lit en Dome*⁴⁵, глядя в вытканые на пологе золотые звезды, и кувыркаться на *Lit a Deux Dossiers*⁴⁶, некоей разновидности софы без спинки, во время занятий любовью с Дандоло.

Сосия, опрокинув на себя Бруно, ощутила запах дешевого жирового мыла, которым дышали его усталые простыни.

Она взглянула ему в лицо, отметив про себя гладкость его щек и кудрявых волос, чистоту его глаз и полноту губ.

Но в первые мгновения с Бруно Сосия думала и о соломенных кроватях, смятых и прокисших, как старые гнезда, кроватях с занавесями, осанистых и величественных, как морские галеоны, темных скрипучих кроватях, похожих на плавучие тюрьмы, пришвартованные у пирса. Она вспомнила пол на кухне близ Риальто, заставленный корзинами с яйцами,

⁴¹ Кровать в алькове (фр.).

⁴² Кровать под балдахином (фр.).

⁴³ Кровать с ванной (фр.).

⁴⁴ Здесь: кровать-бастард, кровать-гибрид (фр.).

⁴⁵ Кровать с куполом (фр.).

⁴⁶ Здесь: двойная кровать (фр.).

и колонны мясных муравьев, выползающих из тухлых яиц. Мысли ее переключились на рассвет, который она однажды встречала в гондоле, и восходящее солнце, оранжевое, как глаз голубя, и кожу гондольера, оставившую привкус соли у нее во рту.

Она повернулась лицом к Бруно, и в глазах у нее ожили воспоминания.

* * *

Бруно тоже думал о яйцах.

Тонкая простыня, лежавшая на его соломенном тюфяке, вскоре смялась и выбилась из-под него. Сосия преподала Бруно первый урок настоящей плотской любви. Прежде ему не удавалось сосредоточиться на чем-либо, полностью отрешившись от остального мира, и даже сейчас оставалось нечто такое, чего он не мог забыть в борьбе разгоряченных тел, переплетении рук и волос, среди скатавшихся в жгут простыней, отпечатков ее зубов у себя на плече и излившемся в нее желании.

Образ яйца всегда и неизменно жил в памяти Бруно. Как-то Фелис рассказал ему об албанском обычае: после рождения ребенка гости преподносят матери и младенцу белое яйцо, которым натирают лицо новорожденного, приговаривая: «Паши бар, паши бар! Пусть оно всегда будет белым!» Это означает пожелание, чтобы лицу ребенка по мере взросления не пришлось покраснеть за его поступки.

И сейчас, когда Сосия выскользнула из-под него, легла сверху, жарко дыша ему в зубы, и прижалась лицом к его лицу, в памяти Бруно всплыло белое албанское яйцо, отливая кроваво-черным перед его крепко зажмуренными глазами.

Он лежал в полудреме, когда Сосия собралась уходить. Она встала с тюфяка совершенно голая, ничуть не стесняясь своей наготы, словно его и не было рядом. Первая мысль его была о старых врагах, слизнях. Больше всего на свете он боялся, что один из них заползет сейчас под голую ступню Сосии, вызвав у нее отвращение. Услышав, как она идет к окну, он осторожно приоткрыл глаз и украдкой оглядел пол в поисках серебристых следов слизи. Не обнаружив таковых, он быстро смежил веки. Она бросила на него короткий взгляд, очевидно, вполне удовлетворенная тем, что он пребывает в полусонном состоянии. Шестое чувство подсказало ему, что сейчас не стоит протягивать к ней руку: их первая встреча должна завершиться, как и началась, без слов. Он также знал, хотя и не понимал, откуда к нему пришло это знание, что Сосия еще не раз побывает у него в постели. Поэтому он притворился, что спит, глядя сквозь прикрытые веки, как она одевается, и едва удержался, чтобы не вскрикнуть, заметив букву S, вырезанную у нее на спине.

Но ему не удалось обмануть ее. Наконец, она замерла, взявшись за дверную ручку, и поинтересовалась у него нейтральным тоном:

– Ты увидишься сегодня с Фелисом Феличиано?

Бруно покачал головой. Он знал, что не должен интересоваться, почему она задала ему этот вопрос или откуда она знает Фелиса, и постарался сделать вид, будто ему все равно. Но ему не хотелось, чтобы Сосия ушла от него с именем другого мужчины на губах и незримое эхо его присутствия провисло бы в воздухе, и потому сказал:

– Тебе не страшно возвращаться домой в одиночестве? Быть может, мне проводить тебя?

Она рассмеялась.

– Опаснее меня в Венеции нет никого!

После того как дверь с грохотом захлопнулась за нею, он прошептал вибрирующей древесине:

– Нет, нет, нет.

Бруно втянул носом запах ее слюны на руке, там, где она вонзила в него зубы, запечатлев болезненный поцелуй во время жаркой любовной схватки. Он откинулся на спину, наслаждаясь каждым мгновением воспоминаний: вот она в истоме закрывает глаза, а вот ее кожа лоснится теплым золотистым сиянием в тени полуденного солнца. Она выказала ему такую страсть, что он уверился – она любит его.

* * *

Итак, Бруно превратился в бесчестного человека. Сосия заставила его жить в тени, в опасении быть увиденным. Он стал созданием, не ведающим удовлетворения, поскольку все его удовольствия сосредоточились в ней, вследствие чего стали запутанными и ложными. Он полностью положился на мнение Сосии о себе, превратившись в тень себя прежнего.

Он полюбил одиночество, поскольку теперь ему не доставало уверенности, дабы предложить свое общество друзьям и коллегам. Он изменился, впадая то в меланхолию, то в восторженный экстаз, что вызывало недоумение окружающих. Полупрозрачная бледность у него на лице обрела трупный оттенок, как у висельника. Друзья пытались мягко и ненавязчиво расспросить его о том, что с ним происходит, давая возможность выговориться. Заливаясь румянцем, он лишь отмахивался от помощи и переводил разговор на другое. Он не мог заставить себя довериться кому-либо, даже своему старинному другу Морто, а в особенности – утонченному и требовательному Фелису Феличиано.

Теперь, когда он носил в себе нечистую тайну, Бруно страдал от ощущения того, что стал изгоем в повседневной жизни, оборвал нити знакомств и мимолетных связей, хотя бы с тем же продавцом корма для птиц. Утомленный и измученный мыслями о Сосии, он более не мог улыбаться им.

Но, странное дело, он вдруг обнаружил, что стал мягкосердечным и уязвимым. Теперь, перестав дарить любовь в мелочах, он лишился защитной оболочки, которая некогда не давала ему расплакаться при виде скорбящей молодой вдовы или хромого нищего. Он стал обращать внимание на всепоглощающую печаль стареющей прислуги и пустые глаза вдовых бабушек, глядящих вниз из мансардных окошек четвертого этажа. Глаза его помимо воли устремлялись на черноту окон, глубокую и вечную, как провалы глазниц в черепе.

Все переживания ощущались в его изношенном и истончившемся сердце с такой остротой и столь болезненно, что иногда он жалел о том, что вообще пришел в *stamperia*, хотя до того как встретил Сосию, знал лишь скудное подобие жизни, с головой уйдя в книги и не ведая, что такое настоящая любовь.

С Сосией он встречался, как правило, при свечах, в каком-нибудь укромном месте. Трепещущее пламя ожесточало черты ее лица, делая его похожим на примитивный наскальный рисунок. Она выглядела жестокой и лишенной мягкости, настоящей Богиней Отмщения, неумолимой и безжалостной. Он так и не смог решить, красива она или нет, и лишь вглядывался в темноту, ища ее взгляд.

Она никогда не задерживалась у него надолго. Иногда ему казалось, что Сосия не видит разницы между его домом и улицей, идя по его жизни, как по тротуару, и не оглядываясь назад. Теперь, когда они стали любовниками, она лишь изредка заходила в *stamperia*. Подобные мгновения стали для него дороже золота: весь день и ночь он мечтал о том, как утром увидит ее. Ему казалось, что он вызывает в ней ответное чувство, даже когда она приходила к нему на рабочее место и надежды на физическую близость не было. Более того, временами она проявляла интерес к его работе. Она умела читать по-латыни, и новые рукописи, которыми он самозабвенно занимался каждый день, похоже, доставляли ей удовольствие. Да она

и сама постоянно носила при себе книгу. Когда же он осведомился, что там, внутри – быть может, она стала поэтессой? – она резко оборвала его, открестившись от стихосложения, и он решил, что это – дневник.

Когда они оставались вдвоем, Бруно прикасался к ней повсюду – к линии выреза, к талии платья, к ее рабочей сумочке, к чулкам. Она задавала вопросы, заставляя его рыться на нижних полках в поисках первых оттисков. Однажды, присев на корточки у ее ног, он заметил, что шнурок на ее башмаке развязался, и смиренно завязал его вновь. Она даже не поблагодарила его, поскольку не обращала на него внимания, нетерпеливо оглядываясь по сторонам.

Он показал ей поэму, которая произвела на него большое впечатление. Разумеется, ее автором был Катулл. Бруно сам записал ее по памяти на обороте выброшенного за ненадобностью оттиска: *«Ненависть – и любовь. Как можно их чувствовать вместе? Как – не знаю, а сам крестную муку терплю»*.

Сосия насмешливо взглянула на него поверх рукописи.

– Это и есть то, что ты называешь любовью? – поинтересовалась она. – Сдается мне, от нее нет никакого толка.

Бросив на манускрипт еще один взгляд, она вдруг улыбнулась.

– Но шрифт недурен.

Бруно просыпался среди ночи, терзаясь чувством вины. Мысль о том, что у него мог быть выбор, доставляла ему невыразимые мучения. Но он отчаянно нуждался в ней. Ему более не нужно было самоуважение: он станет для Сосии тем, кем она хочет видеть его. Он отказался от своего места среди праведников.

Бруно так часто мысленно беседовал с Сосией, что временами ее имя непроизвольно срывалось с его губ. Если в глаз ему попадала соринка или он ронял что-либо (что случалось довольно часто; Бруно, ранее отличавшийся грациозной ловкостью, после встречи с Сосией стал походить на неуклюжего пьяницу), он вскрикивал: «Сосия!» – произнося ее имя как проклятие или заклинание.

Она присылала ему записки. Обещала прийти. И не приходила. А он не осмеливался подойти к темному дому в Сан-Тривазо, где она лежала по ночам в постели со своим мужем, а днем смешивала доктору снадобья и стирала его белье. «Его нижнее белье», – думал иногда Бруно, и в животе у него возникало сосущее чувство.

Бруно виновато мечтал о том, чтобы с Рабино случилось несчастье и его унесла какая-нибудь заразная болезнь, которую он подцепит у одного из своих пациентов, или он умрет, отравившись... как подобает мужу. Такие мысли вызывали у Сосии неприкрытое изумление.

– О да, тогда им будет вонять каждый угол дома, – смеялась она.

Впервые в жизни Бруно поймал себя на том, что смотрит на других мужчин, оценивая их привлекательность, но не в эстетическом смысле, а в том, понравились бы они Сосии. Хотя ее вкусовые предпочтения оставались для него загадкой. Она неоднократно повергала его в шок, приостанавливаясь на улице, дабы одарить медленным взглядом толстого гондольера или пожилого купца. Чужеземцев она игнорировала.

«Она делает это, чтобы подразнить меня, – сумрачно утешал себя Бруно, – на самом деле она не хочет этих мужчин».

И добавлял: «Они ей не нужны. Она любит меня».

Он поджидал ее на ступеньках своей комнаты, когда знал, что она должна прийти. Сидя за дверью на выщербленной и осыпающейся лестнице, он становился ближе к ней на целых десять шагов. Бруно придумал целую игру, чтобы обуздать свое нетерпение, обводя указательным пальцем каждый из растопыренных пальцев на ноге и считая вслух. Начинал, полный надежды, что к тому времени, как он пересчитает все пальцы, она уже будет здесь; или к тому моменту, как он пересчитает их во второй раз. Когда же она подходила к двери,

всегда на несколько мучительных минут позже обещанного, он пользовался тем, что скрип двери скрывал его крадущиеся шаги, пока он возвращался в студию. Поэтому, когда она входила, он уже склонялся над своей работой, делая вид, что занят и не замечает, который час.

Но ему не удавалось обмануть ее. Она подходила к нему и проводила пальцем по последней строчке текста, чтобы посмотреть, размазываются ли свежие чернила. Она показывала ему сухой палец, который потом совала в рот. Когда же он вставал из-за стола, она стряхивала с его ягодич лестничную пыль, причем не слишком ласково, а он стоял, понунив голову и заливаясь краской стыда.

Его счастье оказалось в ее руках.

Однажды, уходя, она забыла свой дневник у кровати. Обнаружив его, Бруно вступил во внутреннюю борьбу с самим собой, в равной мере сгорая от желания и страшая прочесть то, что она написала об их любовной связи. В конце концов он справился с собой и не стал открывать книгу, надеясь получить награду за свое воздержание. Сосия, вернувшись за книгой, метнула на него острый взгляд.

– Ты читал ее? – Но, видя, что он остается безмятежно спокойным, сама же и ответила себе: – Нет, не читал. Такие, как ты, встречаются редко.

Бруно часто закрывал глаза, оставаясь с Сосией наедине, то ли потому, что это помогало ему острее наслаждаться их любовью, то ли потому, что позволяло не видеть неподобающего выражения у нее на лице.

Ему хотелось сказать ей: «Я люблю тебя и доверяю тебе. Только ты можешь сделать меня счастливым или несчастным. Если со мной что-нибудь случится, я хочу, чтобы ты была рядом».

А она бы ответила ему: «Раздевайся. Сделай это. Потрогай меня вот здесь».

Ложь Сосии и ее редкая жестокая правда оказались настолько захватывающими и привлекательными, как будто жили в своем собственном моральном мире. Для нее существовало несколько истин, вырубленных в камне, которых она придерживалась в отношениях с Бруно и которые были для нее столь же нерушимы, как десять заповедей.

«Мне не нужно говорить, что я люблю тебя».

«Ты не должен спрашивать меня, где я была».

«Если ты заставишь меня рассердиться на тебя, пусть даже на мгновение, я уйду от тебя в ту же секунду».

«Если на лице у тебя появится выражение, которое мне не понравится, это будет достаточно веской причиной, чтобы уйти от тебя».

А у Бруно имелись собственные молебствия. Он говорил себе: «Лучше уж любить кого-нибудь вроде нее. Так легко влюбиться в мягкую, слабую и безвольную женщину, которых находит себе Морто. Так легко влюбиться в кого-нибудь красивого и страстного. Но я выбрал любовь, которая требует от меня большего».

Но с нею любовь не могла претвориться в жизнь.

Сосия отказывалась отвечать на любые вопросы. Он ничего не знал о ее прошлом. Она не желала рассказывать ему о том, откуда у нее на спине появилась вырезанная буква S. Он ничего не знал о тех, кого она любила до него. А ведь они обязательно должны были существовать, потому что она знала все о том, как удовлетворить физическое желание или как возбудить его. Иногда Бруно мрачно думал, что с ним она отрабатывает какое-то руководство по всевозможным позам и способам совокупления, в которых было больше извращенного интереса, чем любви. Теперь он куда меньше беспокоился о Рабино Симеоне – иногда ему даже становилось жалко своего изначального соперника, – чем о легионах неизвестных и загадочных любовников, что были с Сосией и научили ее всем этим захватывающим штукам, которыми она так мастерски владела.

Он не осмеливался спросить, чем Сосия щедро одаряла других, как и не знал, не оттого ли она так редко проявляет к нему нежность, что растратила ее в других местах, – или, быть может, она все же сберегает ее в душе, а его, Бруно, просто желает недостаточно сильно, чтобы высвободить это чувство? Он чувствовал, что не сумел стать для нее настолько привлекательным, чтобы пробудить в ней страсть.

А вот его прошлое Сосию нисколько не интересовало: она не проявляла ни малейшего интереса к его семье и резко обрывала его, когда он пытался поведать ей о своей первой невинной любви – подруге матери с большими и серебристыми, как лагуна, глазами и светлыми волосами. Или о женщине постарше, которая на целую зиму увлекла его воображение только тем, что открыла ставни в ночной рубашке одним ранним утром, когда он с мальчишками направлялся в школу и проходил под окнами ее дома. В тот миг Бруно случайно вскинул голову, заметил тень соска сквозь смятое белье, увидел, как она придавила локтем другую грудь, а та, словно живая, вдруг резко вывернулась, обретая свободу.

Теперь он стал мудрее. За несколько недель, прошедших с того момента, как Сосия впервые вошла в его комнату, он повзрослел на много лет. Заканчивалась весна, и начиналось лето, а он за это время пережил целую смену сезонов страсти и разочарования.

Он мог сказать Сосии: «До того, как встретил тебя, я полагал, что любовь – это восхитительная тайна. Ныне она перестала быть для меня таковой. Я многое узнал о любви, в том числе и то, что есть вещи, которые я не хочу знать».

– Может, мне уйти? – равнодушно поинтересовалась Сосия, поднимаясь на ноги.

При этих ее словах Бруно охватила паника, резкая и горькая, как чеснок.

– Нет, нет, нет, любимая, – задохнулся он, хватаясь за подол ее платья. – Пожалуйста, не уходи.

– М#м, – задумчиво проговорила Сосия, глядя в окно.

Внизу, на улице, вереницей шли мужчины.

Часть вторая

Пролог

*...Птенчик, радость моей подруги милой, С кем играет она,
на лоне держит, Кончик пальца дает, когда попросит, Побуждая его
клевать смелее, В час, когда красоте моей желанной С чем-нибудь
дорогим развлечься надо, Чтобы немножко тоску свою рассеять,
А вернее – свой пыл унять тяжелый – Если б так же я мог, с тобой
играя, Удрученной души смирить тревогу!*

Декабрь, 63 г. до н. э.

Люций, Люций!

Как много вопросов ты задаешь! (И сколько братских упреков сокрыто в каждом из них.) Я вижу, что тебе нелегко пожалеть меня.

Да и друзья мои отнюдь не спешат выразить свое сочувствие. Едва перестав свистеть и бить себя в грудь, подобно обезьянам, они принялись дружно поддразнивать меня. Их однообразные насмешки звучат для меня удручающим и тошнотворным хором, подобным лаю бродячей собаки.

– Значит, ты затащил Клодию Метеллу в свою постель? Как это удалось такому скромнику, как ты? И ты хотел бы, чтобы она там и осталась, верно? Ты – неисправимый мечтатель.

Они сказали мне:

– Она в своем репертуаре.

Они имеют в виду, что о Клодии говорят, будто она всегда обрывает любовную связь, когда та находится на самом пике. Весь Рим знает, что она безупречно владеет искусством расставания, поэтому и ставит всех своих мужчин на место, не давая им повода возгордиться собой. Мне тоже следовало бы помнить об этом: она неоднократно прогоняла меня и столько же раз призывала обратно, и каждое наше расставание было приправлено пикантным витком очередной жестокости.

Что ж, наши с нею расставания и встречи длятся вот уже четыре месяца. Можно сказать, что мне повезло. Она выпотрошила меня, словно писец, работающий над папирусом: своими ловкими пальчиками выудила из меня всю историю моего прошлого. Как мне говорили, ей случалось встречаться с другими мужчинами в такой спешке, что любовные ласки весьма поверхностно доводились до своего логического завершения, и любовник более никогда не возвращался к ней в постель. Она даже забывала, как его зовут, и помнила лишь то, как он ублажал ее, причем физическая память об этом соитии была отделена от его лица.

Кажется, у меня сложилось неверное представление о моей музе, Люций.

Теперь я знаю, что Клодия, в отличие от покрытой следами удовольствия Сафо, ненавидит любовь, ненавидит все красивое и прелестное с жестокой, первобытной холодностью. Она ненавидит их так сильно, что аромат розового масла и циветты не в состоянии заглушить исходящий от нее запах ненависти, чужеродный и металлический. В ней живет воплощение Орка⁴⁷, пожирающее красоту.

Занимаясь с ней любовью, я страстно желаю вкусить самой сути чистого, незамутненного счастья, но мне кажется, будто я облизываю горлышко плотно закупоренной бутылки, в которой хранится священный эликсир. Болезненный репертуар, который она снова и снова

⁴⁷ Орк – бог подземного царства (Аид; Гадес) у древних римлян.

разыгрывает со мной, одновременно доставляя наслаждение каждой клеточке моего тела, грубо противоречит нежности и ранимости моих чувств.

Я знаю. *Знаю*. Самое разумное, что я могу сделать, – не обращать на это внимания, получить удовольствие по мере возможности и отпустить ее. Но с нею я не могу вести себя хладнокровно. *Потому что* она – такая, какая есть, а не вопреки этому.

В самом начале моя любовь к ней была слепа. Но и теперь, когда у меня открылись глаза на ее натуру, я по-прежнему безрассудно люблю ее.

Клодия наделена многими... *талантами*, скажем так, свойственными обычной проститутке. Невинность в ней восхитительным образом сочетается с распутством, а чистая внутренняя фригидность куртизанки облачена в яркую обертку наружной холодности аристократки. Она буквально излучает ауру соблазна и опасности, подобно солнечным лучам, отражающимся от поверхности воды. Я не могу оторвать от нее глаз.

Как тебе известно, Люций, я бы никогда не возжелал использованную и выброшенную за ненадобностью женщину, которая более не нужна никому. Так что самой судьбой мне было предназначено встретить кого-либо вроде нее.

Моя ревность делает ее еще более желанной в моих же собственных глазах. Чем сильнее боль, которую она мне причиняет, тем выше она мне кажется. Я ненавижу ее и боюсь потерять. И эта ненависть, эта зависимость возбуждают. Что бы ни делала Клодия, она вызывает во мне желание, встряхивая бутыл с неразбавленной любовью, так что та начинает пениться и играть. Как ей прекрасно известно, ее слуга всегда может найти меня ожидающим подле дверей. Я совершаю омовение по четыре раза на дню, чтобы прямоком последовать за ним к ее дому и принять то унижение, что ожидает меня. Я чутко сплю в своей холостяцкой постели по ночам, надеясь услышать знакомый негромкий стук.

По своему обыкновению, она скажет, как сказала сегодня утром, с насмешливой улыбкой цедя слова: «То, как ты меня любишь, – это твое личное горе».

Как ты легко можешь себе представить, Люций, правдивость такого замечания отнюдь не делает его более приятным, как и его повторение, слетающее с ее всегда готовых укусь губ.

Впервые она заговорила об этом, когда я начал подумывать о том, чтобы изготовить ее восковое изображение, и теперь всякий раз, когда она причиняет мне боль, перед моим внутренним взором возникает этот утешительный образ. Если бы он не успокаивал меня, то, уверяю тебя, я уже давно сошел бы с ума, став таким же буйным и диким, как весеннее равноденствие.

* * *

В самом начале нашей связи она сказала мне:

– А ты, оказывается, жаден до боли.

В ответ я лишь молча покачал головой.

– Без нее ты не смог бы написать ни куплета, – рассмеялась она. – Ты пользуешься мной. Поэтому не скули, уверяя, будто я заживо пожираю твое сердце.

– А как насчет моих счастливых поэм? «Тысячи поцелуев», например? Или «Счетной поэмы»? – возразил я, в глубине души сознавая, что она права.

– Совершенно очевидно, что они написаны по воспоминаниям.

Ее слова повергли меня в панику, потому что она еще лежала в моих объятиях и, насколько мне было известно – каким бы идиотом я ни был, – на сей раз у меня не было счастливых соперников.

– Ты хочешь предостеречь меня от чего-то?

Она приподнялась на локте и с веселым изумлением взглянула на меня сверху вниз. Я вдруг заметил морщинку у нее на шее и уставился на нее, словно зачарованный. Она ничуть не смутилась; прижавшись ко мне бедром, она взяла мою руку и положила себе на пышные ягодички.

– Вся моя жизнь должна была стать для тебя предостережением, – сказала она, начиная двигаться, медленно и целеустремленно. – Или ты был слишком туп, чтобы уразуметь это с самого начала?

Я продолжал злорадно разглядывать складку у нее на шее, которую мне очень хотелось потрогать пальцем.

Наконец она прекратила двигаться и осведомилась:

– Чего это ты так на меня уставился?

Я ответил:

– Снимаю с тебя мерку для восковой куклы.

Она вновь рассмеялась, вот только на сей раз в смехе ее слышались тревога и беспокойство.

Я продолжал:

– Подари мне свой локон! Мне нужна частичка твоего тела; обрезок ногтя с ноги вполне подойдет.

– А не пошел бы ты куда подальше, – отозвалась она, оскалив зубы.

Поэтому я подождал, пока она выйдет из комнаты, чтобы принять ванну, и подкрался к ее туалетному столику, где и вытащил несколько волосинок, застрявших в ее гребенке. Я еще обратил внимание, что корни их были совершенно седыми, что вселило в меня смутное ощущение торжества. Я поднес к губам флакончик для духов, сделанный в форме стеклянной птицы, и отпил несколько горьких капель из ее клюва.

А потом я написал поэму, дабы увековечить эту докучливую и беспокойную маленькую птаху, ее заносчивого воробья, будь проклята его грудка в черных пятнышках! Кажется, она любила эту птицу, насколько вообще была способна любить. То, что любила Клодия, любил и я, причем со всем присущим мне талантом: в голове у меня мгновенно родилось воздаяние, трепещущее легкими звуками. Я полагал, что она вознаградит меня за него, но Клодия отшвырнула дощечку, едва удостоив ее беглого взгляда.

– Тебе нравится? – поинтересовался я, не поднимая глаз.

– Не жди, что я стану любить тебя более возвышенно только потому, что ты мнишь себя поэтом, – лениво протянула она. – И не думай, что я не понимаю двусмысленности, которую ты вложил между строк.

(Видишь, брат, как она умна? Она моментально догадалась, что в моей поэме речь идет о маленькой птичке, которая начинает трепетать у меня между ног при одной только мысли о ней.)

– Неужели тебе совсем не нравится то, что я пишу о тебе? – взмолился я.

Она лишь небрежно передернула плечами, словно говоря, что ей не впервые приходится играть роль музыки.

* * *

Клодия! Ты спрашиваешь, что в ней есть такого, что позволяет забыть о ее холодности. Понять это пытались многие мужчины. Теперь настала моя очередь. И я бы сказал, что непревзойденная слава Клодии – лишь отраженное сияние вожделения и похоти, которые испытывали к ней многие. Каждый видит в ней женщину, которую в то или иное время желал другой мужчина. Она преломляет и возвращает желание вместо того, чтобы впустить

его в себя, и этим похожа на пыльную лампу, которая, как кажется, дает свет, но на самом деле лишь порождает в темноте уродливую пляску тусклых пятен.

Я знаю, что у всех женщин есть свои фантазии; знаю, что они мысленно в любую минуту способны представить себе нового возлюбленного, иногда в тот момент, когда сверху на них еще лежит прежний. Но фантазии – одно, а воспоминания – совсем другое. Клодии не нужно представлять себе, что это такое – совокупляться с некоторыми высокородными и многими низкородными мужчинами в Риме. Ей нужно лишь обратиться к архивам и тайникам собственной кожи, чтобы вспомнить их дары и жертвования, ухищрения и выносливость. Когда я возлежу с Клодией, то никогда не чувствую, что остался с нею наедине. С таким же успехом одиночкой может воображать себя и слепая летучая мышь, находясь в пещере, в колонии себе подобных.

Мысль эта приводит меня в содрогание, как, впрочем, и любого другого на моем месте, но меня – больше, чем кого-либо, ведь я боюсь, что другие мужчины прокрались с нашего любовного ложа в мои стихи. Эти мужчины слились в моем воображении в гигантского колосса по имени «не Катулл». В определенные моменты, когда я, казалось бы, должен забыть обо всем, меня вдруг пронзает напоминание о них: мои ногти, волосы и зубы натываются на драгоценные камни, которые подарили ей другие любовники. Она никогда не снимает их. Даже голая, она выглядит омерзительно шероховатой из-за горных кряжей и россыпей золота и рубинов.

Клодия и сама балуется сочинительством. Она пишет небольшие и остроумные эпиграммы, и я завидую каждому ее слову о любви. Ибо я не уверен, что они обо мне.

Для самой же Клодии любовь, исходящая от меня, Катулла, – не более чем докучливая муха.

Но мои поэмы о ней – другое дело. Проблема в том, что их трудно забыть (в отличие от тех, что пишет Целий). Мои песни лишь придали сияния и блеска ее репутации: из-за них Клодия стала пользоваться большей популярностью и славой, чем прежде.

Прошло немного времени, и мои друзья стали передавать друг другу их экземпляры. Каким-то образом мои поэмы просочились за пределы нашего круга и вышли на улицы, где влюбленные принялись цитировать их друг другу. Память римлян вообще легко усваивает сладкозвучные слова.

Ну и, разумеется, любой может воспользоваться чужой фразой к своей выгоде. Поэтому я не знаю, плакать мне или смеяться оттого, что уже и торговцы всех мастей расхваливают свой товар, используя отрывки из моих стихотворений. Продавец сирийских колбасок и торговец египетскими орехами выучили их наизусть, и они даже нацарапаны на стенах купален. Но мое имя пока не связывают с ними. Я обрел безвестную славу, чего не планировал и к чему не стремился изначально.

Поэтому, когда я прихожу к мастеру, изготавливающему восковые фигурки, и принимаюсь описывать ее, он перебивает меня двустежком из поэмы о воробье, выразительно приподняв брови.

Глава первая

*...Коль язык ты держишь за зубами, Наслаждений теряешь
половину...*

Одно из изобретений Иоганна Гутенберга вселило сильную тревогу в членов венецианской *collegio*⁴⁸. В город начали поступать печатные книги из Майнца, вытесняя с рынка местных писцов. Поползли слухи, что немцы вознамерились установить печатные станки в самой Венеции. Радикальная фракция потребовала запрета печати в *La Serenissima*⁴⁹ и сохранения старинной культуры переписи книг вручную.

Доменико Цорци, коллекционер книг и ученый-схоласт, умолял коллег одуматься. Восемнадцатого числа марта месяца 1467 года он обратился к вельможной знати с речью, посвященной Иоганну Гутенбергу.

– Некоторые из вас проклинают его имя, шепотом называя его посланником Люцифера. О чем вы говорите? Прошу молчания и внимания! Вместо этого давайте рассмотрим с нашей славной венецианской рациональностью поразительное изобретение, которое призвано не уничтожить нашу историю, а соединить узами брака прошлое и настоящее.

Очевидно, Гутенберг родился примерно семьдесят лет назад в семье мелкого дворянина, но никак не простолюдина, обратите на это внимание, досточтимые пэры. Первым его гениальным деянием стало массовое производство зеркал, каковое должно внушить уважение венецианцев к нему самому и его воображению! Мне докладывают, что идея отливать буквы из металла пришла к нему, когда он разливал расплавленный свинец или олово по стеклянным пластинам.

Году этак в 1450 этот Гутенберг изобрел подвижные литеры. Я вижу, что вы озабоченно хмуритесь, но, уверяю вас, концепция сия совсем не трудна. Это всего лишь процесс, позволяющий печатать страницы непрерывного текста с помощью металлических букв, собранных воедино в деревянных формах. Я бы с удовольствием продемонстрировал вам простейшие приспособления, но, разумеется, в Венеции они до сих пор запрещены.

Эта диаграмма наглядно показывает простоту процесса: вот все его части по отдельности и вместе. Все настолько просто, что я поражаюсь, как никто не додумался до этого раньше! Подобно изобретательности Господа Бога нашего с хлебами и рыбами, это удивительное устройство позволяет авторам давать пищу для ума большим массам людей, причем каждому по отдельности, но одновременно, причем по цене, позволяющей любому респектабельному мужчине расширить или собрать библиотеку.

Я спрашиваю вас, милорды, сейчас, когда турки и генуэзцы выражают бурное недовольство у нашего порога, можем ли мы и дальше почивать на лаврах? Повернуться спиной к такому прорыву в мире механизмов? Остаться стоять, подобно аистам в воде, пряча голову под крыло, чтобы не видеть, как мир за пределами Венеции устремляется вперед?

Более того, неужели вы не видите, сколь прекрасны эти образцы печатных страниц? Разумеется, они – *немецкие* по стилю и исполнению. Но насколько красивее они были бы, если бы буквы разработали венецианские мастера! В умелых руках книгопечатание способно стать столь же великим, как и живопись маслом, милорды, подобным искусству Джованни Беллини⁵⁰, новым украшением нашего славного города.

⁴⁸ Коллегия; объединение (*итал.*).

⁴⁹ Светлейшая; старинное название Венецианской республики (*итал.*).

⁵⁰ Джованни Беллини (1430–1516) – знаменитый итальянский и венецианский живописец.

И не просто украшением: книгопечатание обогатит наш разум. Кое-кто осмеливается издевательски утверждать, будто мы, венецианцы, не обладаем интеллектом в подлинном смысле этого слова; что мы никогда не изобретем какое-либо учение или философию; и что глубокая мысль никогда не родится в нашей среде. Наш город – рай для чувств, как с завистью отмечают чужеземцы, но он пожирает наши идеи с такой же легкостью, с какой вода проникает в раскву, заставляя ее осыпаться хлопьями.

Позвольте процитировать вам отрывок из письма, которое я получил в этом месяце от знаменитого писца Фелиса Феличиано, который любит наш город, но ласково смотрит на него из Вероны. Вот что он пишет:

...где-нибудь в конце лагуны необходимо устроить хранилище, где содержались бы те части Венеции, что унесены из нее отливом. Я представляю его себе как воображаемую воздушную Венецию, воссозданную из этих фрагментов; раскрашенный слепок города, нечто вроде книги города, воплощенного в двух измерениях и более красивого, нежели трехмерный. Это и есть подлинная душа Венеции, этот воздушный город моей мечты. Он похож на прозрачную, парящую над водой книгу, где страницы – это мысленные образы, воплощенные в цвете. Это будет не порождение разума, а шедевр красоты, вызывающий к одним только чувствам.

А теперь, милорды, я спрашиваю вас, разве этого вы хотите? Чтобы венецианцы сами распространяли клеветнические измышления о том, будто у нас нет разума, будто нам недостает твердости, будто мы – всего лишь пузырьки воздуха? Прозрачное яйцо, пустое и яркое, как буква алфавита? Пустоголовая куртизанка, а не город?

Хвала, расточаемая нашей красоте, отравила наш разум тщеславием. Пришло время доказать всему миру, что у Венеции есть душа и ум под стать ее несравненной красоты лицу. На этом, милорды, позвольте закончить. Давайте послушаем, что все остальные имеют сказать об этом печатном изобретении, и допустим ли мы его в свой город или же забудем о нем. Итак, каково будет ваше решение? Прислушаемся ли мы к мнению наших священников и пессимистов, осуждающих всякое новое веяние? Или же откроем наши врата ветру новизны? По ту сторону Альп ждут нашего решения мужчины, готовые превратить нас в город, который печатает книги и получает от этого выгоду.

* * *

Через несколько месяцев после речи Доменико через Альпы перешли Иоганн и Венделин Хайнрихи из Шпейера, обуреваемые жадной успехом, с отливками букв в карманах.

С собой они несли рекомендательные письма, написанные по-итальянски падре Пио, римским клириком, направленным в очень могущественное епископство Шпейер. Падре Пио, не чуждый дружескому мздоимству, при обычных обстоятельствах написал бы такие письма для любого просителя за подношение, недостойное упоминания, но в случае с двумя братьями он поступил так исключительно из чувства дружбы. Еще во время самой первой аудиенции в своем просторном кабинете он разглядел в них нечто такое, что не только прельстило его коммерческую жилку, но и заставило проникнуться к ним искренней привязанностью. Старший брат приближался к тридцати, младший был на пять лет моложе. Но при этом обоих отличал явственный налет мальчишества. Пока что никакое разочарование или утрата иллюзий не стерли сладкий и восторженный оптимизм с их лиц, а их светлые волосы оставались мягкими и пушистыми, как цыплячий пух.

Печатное дело интересовало падре Пио чрезвычайно; одной из многочисленных его задач было увеличение количества томов в библиотеке. Он побывал в Майнце, дабы лично

ознакомиться с процессом использования подвижных литер, и рассчитывал на полный успех печатных станков. Он также был одним из тех на удивление многочисленных либеральных клириков, которые не видели никакой опасности в возрождении древнегреческих или латинских текстов.

– Это всего лишь красочные аллегории истинных ценностей Господа Бога нашего, – говорил он. – В них нет никакого богохульства. Все, что доставляет такое удовольствие, не может не быть даром Божиим. Как виноград или взбитые сливки.

Сам падре Пио никогда не бывал в Венеции, но знал, *что* она может предложить двум предприимчивым и энергичным немцам, имеющим нечто прекрасное и практичное на продажу.

В день их отъезда он лично проводил их до корабля, который должен был отвезти обоих вниз по Рейну до Базеля. Крепко обняв братьев на прощание на пристани, он напутствовал их словами:

– Отправляйтесь прямиком в *Locanda Sturion*⁵¹, запомните; не позволяйте отвести себя куда-либо еще, а потом идите в *fondaco*. А уж оттуда – прямиком на Пьяццу!⁵² Каналы! Куртизанки! Ах, Венеция! Если бы я был на пять лет моложе! Вы должны написать мне обо всем! Слышите? Обо всем!

Он махал им вслед до тех пор, пока их судно не скрылось за излучиной реки. Последним звуком дома для братьев стал его голос, долетевший до них над вспененной водой: ««Стурион»! Ищите вывеску: серебряная рыба на красном поле».

Повернувшись, чтобы уйти, падре Пио подумал: «Хотел бы я знать, вернутся ли они?»

* * *

Ранним весенним утром 1468 года братья из Шпейера прибыли в Местре. Они растерянно стояли, дрожа от холода, среди ящиков и сундуков, выгружаемых на пристань. Пусть они и не догадывались об этом, но ящики сослужили им добрую службу и стали хорошим предзнаменованием. В них находилась первая партия манускриптов из собственной библиотеки кардинала Виссариона, которую он целиком и полностью пожертвовал Венеции, дабы сделать ее книжным городом. Тысяча новых томов, большей частью на греческом... сейчас их переносили во Дворец дожей на временное хранение, пока для них не будет готова библиотека.

Спотыкаясь, братья сошли на берег, волоча за собой дорожные сундуки и сумки. Большую часть из них тащил Венделин, поскольку Иоганн значительно уступал ему и ростом, и силой; с самого детства он не отличался ни крепким телосложением, ни отменным здоровьем. Вся физическая сила и выносливость в семье достались Венделину. Но из них двоих большее впечатление производил именно Иоганн. Он привлекал внимание окружающих, внушая им тревогу и беспокойство своим пристальным вопросительным взглядом.

На ломаном итальянском, усвоенном из архаичных трактатов с помощью падре Пио, братья подрядили носильщика, чтобы перенести свой багаж, битком набитый матрицами и железными буквами, на лодку. И что это была за лодка! Единственный доступный транспорт оказался длинной змеей черного дерева, высунувшей голову из воды, неширокой посередине и еще сильнее сужающейся к корме и носу, на котором в тусклых лучах рассвет-

⁵¹ Гостиница «Стурион» (итал.).

⁵² Пьяцца – площадь Сан-Марко (итал. Piazza San Marco), или площадь Святого Марка – главная городская площадь Венеции. Архитектурной доминантой площади является Дворец дожей и находящаяся на некотором расстоянии колокольня базилики Святого Марка.

ного солнца злобно скалила зубы посеребренная морда твари. Братья уселись рядышком на покрытое бархатом мягкое сиденье, а носильщик скорчился на разрисованной жесткой скамеечке. Они во все глаза смотрели, как перед ними разворачивается подернутая дымкой панорама сказочного города. Если бы они не читали о нем в книгах, то решили бы, что видят мираж, видение, навеянное им тяготами проделанного путешествия. На фоне рассветного неба возносились стройные башни; город казался покоящейся на подносе из расплавленного золота раскрытой книгой, страницы которой перелистывал ветер. Белые дворцы, украшенные каменным кружевом, парили над туманной водой. Остальные здания были инкрустированы мозаикой и отливали всеми оттенками ляпис-лазури.

Братья хранили благоговейное молчание, боясь заразить друг друга своими страхами, высказанными вслух. Венделин и Иоганн, словно зачарованные, вцепились в борта гондолы, в глубине души желая вновь очутиться среди бархатных холмов Шпейера и упрекая себя за глупость и самонадеянность. Кто они такие, чтобы осмелиться вступить в этот легендарный город и при этом мечтать, что смогут привнести в него нечто новое?

Солнце поднималось все выше. Призрачные очертания города обретали плоть и четкость. Теплый ветерок ласково ерошил их волосы, отчего они вздрагивали, как в ознобе. Когда лодка приблизилась к берегу, их атаковали запахи: сдобной кондитерской выпечки, маринованных оливок, чеснока и лилий. Они слышали пение, выкрики уличных носильщиков и, что самое удивительное, трели птиц, наполнявшие солоноватый воздух нежным очарованием. Повсюду взгляд их наткался на других чужеземцев – турок, греков, египтян, а до слуха доносились обрывки варварских наречий. Их гондольер направил лодку по Гранд-каналу, мимо палаццо, церквей и складов, изящные силуэты которых странным образом контрастировали с их огромными размерами и утилитарным предназначением. Братья сидели не шевелясь на своей бархатной скамье, пытаясь не поддаваться благоговейному испугу и думая о замечательном новом изобретении, что покоилось в их кожаных сумках.

«У нас есть что предложить даже этому волшебному городу», – думал Венделин, поглаживая замки своего дорожного сундука.

– Что это за красивое здание? – поинтересовался он у гондольера, когда они проплыли мимо палаццо с неожиданно прямой осанкой и стройными очертаниями. Венделин с удовлетворением отметил, что длина его фасада в точности соответствовала гондоле.

– Вам не захочется побывать там, – проворчал носильщик. – Это *Ca' Dario*⁵³. Проклятое место.

– Выходит, вы здесь верите в привидений? – Венделин довольно улыбнулся. Было приятно узнать, что и у этого города есть свое слабое место, невинная причуда.

– Того, кто не верит в привидений, они сожрут, – последовал мрачный ответ.

У Риальто они сошли на берег вместе с носильщиком, который немедленно повел их по узким улочкам в гостиницу жены своего двоюродного брата.

– Кровати там такие мягкие, что на них не побрезговал бы умереть и серафим, – бросил он им через плечо сомнительную рекомендацию. – А еда такая, что доволен останется и голодный монах.

Заведение, в которое он их привел, не выглядело бы respectable ни для ангела, ни для клирика. Неряшливая женщина, прижимая к груди ребенка, небрежно приветствовала их. Предложенная им комната воняла потом и оказалась настолько темной, что владельцу пришлось зажечь свечу, чтобы отыскать кровать. В круге отбрасываемого ею света Венделин заметил гигантскую тень блохи, поспешно спрыгнувшей с матраса.

После некоторых препирательств с носильщиком они все-таки уговорили его отвести их в *Locanda Sturion*, где им заранее, письмом, были заказаны комнаты. Раскраснев-

⁵³ Дом Дарио (итал.).

шиеся от отчаянных потуг справиться с непривычным венецианским диалектом, сгибаясь под тяжестью сундуков, которые им пришлось тащить на себе по бесчисленным узеньким улочкам и переулкам, братья задыхались, чувствуя, что их сердца колотятся, как полошущие под ветром паруса. Венеция уже начала испытывать их на прочность, втягивая в хитросплетения византийских отношений. Но по крайней мере на этот раз они победили. Носильщик угрюмо поглядывал на них из-под насупленных тонких бровей, но все-таки привел их, причем на удивление коротким маршрутом, обратно к Риальто и месту их законного назначения. Когда они оказались на середине деревянного моста, Венделин заметил вывеску с серебряной рыбкой на красном поле, как и обещал им падре Пио, и вздохнул с невыразимым облегчением.

Безупречное внутреннее убранство *Locanda Sturion* лишь подтвердило мудрость падре Пио и укрепило их уверенность в правильности остальных полученных от него советов. Красота владелицы гостиницы и роскошь комнат, драпированных голубым и зеленым бархатом, заставили их восторженно умолкнуть. В покрытых патиной зеркалах отразились их бледные лица, окруженные бликами плещущейся внизу воды и словно тающие в рамках. Как только владелица, одарив их на прощание сдержанно-соблазнительной улыбкой, выплыла из комнаты, братья повалились на кровати, в которых, к их невероятному удивлению и облегчению, не оказалось паразитов, и несколько минут обменивались восторженными впечатлениями. Решив, к обоюдному согласию, что их хозяйка – вовсе не куртизанка, они погрузились в сон и проспали двадцать часов подряд.

Проснувшись они с ощущением покоя, безопасности и счастливыми воспоминаниями о том, что перед уходом хозяйка вручила им ключ от комнаты и сообщила, что буквально в сотне ярдов от гостиницы, по ту сторону моста Риальто, находится *Fondaco dei Tedeschi*, немецкий гильдейский зал собраний. Они знали, что найдут там помощь и поддержку, точные сведения и полезные советы. Не прошло и часа, как они уже шагали по рынку Риальто, изумляясь солнечным часам Сан-Джакомо. Когда они проходили мимо, те как раз проигналили восемь часов петушиным криком. Они шли с точностью до минуты, с удовлетворением отметил Венделин, бросив опытный взгляд на небо.

Навстречу им попался прохожий, который остановился, чтобы поговорить с братьями. Будучи венецианцем, он заинтересовался и самими чужеземцами, и тем, что они думают о его городе.

Он расцвел и заулыбался, когда Венделин сбивчиво рассыпался в цветистых комплиментах.

– Даже ваши часы прекрасны и обладают точным ходом, – окончательно выбившись из сил, закончил Венделин.

Незнакомец с улыбкой сообщил ему, что внутренний механизм, разумеется, сиенского производства, поскольку всем хорошо известно, что венецианцы не умеют делать часы, которые показывают точное время.

Венделин, заметив, что за этой приятной, но бесполезной беседой прошло уже четверть часа, заподозрил, что венецианцы не склонны придавать значение тому, как бежит время.

Однако же в это безоблачное утро ничто не могло испортить его радужного настроения. И то, что в самом сердце этого города он встретил чужеземный механизм, благополучно отсчитывающий время у Риальто, показалось ему добрым знаком.

Еще до полудня братья договорились о том, что в *fondaco* им выделяют две светлые комнаты, и наняли двух подмастерьев, которые знали немецкий. Кроме того, они познакомились с пятью немецкими купцами. Один из трех венецианских вельмож, покровительствовавших *fondaco*, приветствовал их с учтивой любезностью, за которой скрывалось снисхождение.

Но и такой прием ничуть не обескуражил братьев: каждый должен знать свое место, а они еще не успели показать городу, на что способны.

Братья фон Шпейер уже узнали от своих новых друзей-эмигрантов, что утонченные итальянцы и в особенности изнеженные и избалованные венецианцы считают немцев грубоватыми и недалекими людьми, годящимися только на то, чтобы изготавливать хорошие вещи и надежные механизмы вроде весов, которые не ломаются (подобные умельцы в самой Венеции не встречались). Даже знаменитыми немецкими художниками в городе восхищалась лишь небольшая группа знатоков.

Посему Иоганн и Венделин после долгих дебатов решили взять себе новую фамилию – да Спира, чтобы стать ближе и не выглядеть явными чужеземцами в городе, который должен был их усыновить. Но подобный поступок не имел особого успеха. Венецианцы, слышав их речь, по-прежнему воротили от братьев носы на улице, дабы знаменитый металлический запах «немецкости» не оскорбил их обоняния.

Подобно двум отросткам, привитым к могучей виноградной лозе, они постарались стать своими для того общества, что предлагала им Венеция, стремясь при первой же возможности свести близкое знакомство с венецианцами. Они посещали местные *festas*⁵⁴, церковные благотворительные собрания, шествия – словом, любые события, на которых можно, не нарушая приличий, познакомиться с женщинами. С обоюдного молчаливого согласия оба подыскивали себе жен, причем жен-венецианок, дабы укрепить свою связь с городом, в который по крайней мере Венделин влюбился с первого взгляда.

Через несколько месяцев после прибытия Иоганн фон Шпейер женился на Паоле ди Мессина, дочери художника. Будучи вдовой, она привела в дом двух молчаливых смуглых сыновей от первого брака. Поспешные и сумбурные ухаживания Иоганна она приняла, не требуя от него хотя бы внешних атрибутов романтической влюбленности, что было очень кстати, поскольку у него не оставалось ни времени, ни сил на то, чтобы засвидетельствовать ей свою любовь должным образом. Венделин надеялся, что женитьба умиротворит тягу брата к работе, которая даже ему временами казалась чрезмерной.

Венделин же влюбился по уши, не смея признаться в этом, в красивую и порывистую молоденькую девушку из Риальто, дочь торговца книгами. Обладательница золотистых кудрей, кожи теплого абрикосового цвета и раскосых темных глаз, она казалась ему одновременно знакомой и совершенно чужой.

Венделин полагал, что все итальянки – темноволосые, точно так же, как почти все немки казались ему блондинками. И он был поражен, встретив огромное количество светловолосых девушек в Венеции. Иоганн, со слов жены, просветил его на сей счет, сообщив, что венецианские женщины красят волосы ядовитыми составами. Украдкой понюхав ее кудри и пристально взглядевшись в ее ровный пробор, Венделин моментально отказался от всех подозрений в том, что цветом своих волос она обязана химии. Уладив этот запутанный вопрос, он отбросил и прочие сомнения, которые вызывала у него женитьба на венецианке.

– Мы поженимся на самом деле? – спросил он у нее однажды, когда всем остальным давно уже стало ясно, что дело идет к свадьбе.

Вручая ей кольцо, он не преминул опуститься перед ней на одно колено. Неуклюжий, как щенок, он протянул к ней свои короткие ручищи и склонил набок большую голову. Девушка, уже без памяти влюбленная в его голубые глаза и твердо решившая, сколько сыновей у них будет, со смехом упала в его объятия.

– Я беру в жены ангела? – поинтересовался изумленный Венделин. – Я тебе нравлюсь хоть немножко?

⁵⁴ Праздник, торжество (итал.).

– Очень сильно. Вот сколько, – улыбнулась она и поцеловала его в оба глаза.

На следующий день он появился на работе взъерошенный, что было верным признаком того, что ему снились эротические сны. Его работники-венецианцы улыбнулись про себя и хлопнули друг друга по плечам.

Глава вторая

*...Дом ни один никогда любви подобной не видел, Также любовь
никогда не скреплялась подобным союзом Или согласьем таким...*

Моя мать зачала меня, когда ей было столько же, сколько мне сейчас, – на пять лет меньше, чем старой двадцатилетней карге, и на пять больше, чем десятилетнему ребенку. Она говорила, что все случилось из-за лошади. Думаю, это было сказано для того, чтобы я отстала от нее, ибо разве можно встретить в этом городе лошадь?

Да, она хорошо подыграла ей, эта лошадь. В то время я, будучи совсем еще маленькой, могла лишь расспрашивать ее о лошади – поскольку любила этих животных всем сердцем.

– Расскажи мне о лошади! – хныкала я.

Я хотела знать о ней все, вплоть до мельчайших подробностей. У нее и правда были четыре ноги, высокие, со взрослого мужчину, и могла ли она бегать так же быстро, как летит по высокой приливной волне лодка? Была ли она белой, как пена прибоя, или же серой, как старая бочка? А звуки, которые она издавала, походили на простуженное мартовское чихание?

Несколько лет подряд я не спрашивала ее ни о чем, кроме лошади. И только после того, как я впервые легла в постель с собственным мужем, я додумалась поинтересоваться у матери окончанием той истории. Оказалось, что она была в деревне, ехала на двуколке, которую как раз и тащила лошадь, когда отец вдруг решил немедленно заняться с ней любовью. Зад лошади, которая, кстати, все-таки была белой, двигался так ловко и легко, что его мысли, и без того подогретые вином, устремились к акту любви, и ему ничего не оставалось, кроме как заняться этим с моей матерью прямо в двуколке. Лошадью, естественно, никто не правил, и она, волоча вожжи, медленно брела по дороге от одного городка до другого.

Вот так на свет появилась я. Я родилась на суше, где у родителей была ферма, хотя оба они были родом из этого города. Но к тому времени, как мне исполнилось пять, отец перевез нас обратно в этот город. Он затопил свой участок земли, подведя к нему слишком много оросительных каналов.

– Этот сумасшедший хочет устроить Венецию на *terraferma*⁵⁵, – услышала я, как прошипела одна фермерская жена другой.

Между прочим, она оказалась права – поскольку он больше не мог прожить и дня, чтобы в нос ему не били запахи моря, а на стенах не играли блики волн. Он бросил свою затопленную водой большую ферму, всех лошадей (и у меня был совсем маленький конек), корову, пшеницу, виноградники и даже павлинов, которые пронзительно орали во дворе, и вернулся в старый сырой дом в Венеции, где родился.

Ему пришлось мириться с перешептываниями тех, кто говорил, будто он потерпел неудачу на суше. Хотя все они в глубине души признавали, что уехать из этого города, если ты родился в нем, – все равно что умирать медленной смертью. Рано или поздно вам самим придется признать это и сделать выбор: или жить червем в грязи на твердой земле – потому что жирный и богатый червяк все равно остается червяком, – или вернуться домой, к чистому и славному морю, чтобы жить, как рыба, но рыба, наделенная душой.

Поэтому вскоре я уже просыпалась в комнате, на стенах которой плясали отблески огней маяка, и стала расти, сначала на два фута над краем моря, потом на три, а потом и на четыре.

⁵⁵ Твердая земля, суша (итал.).

Мой отец купил лавку, небольшое предприятие, которое намеревался увеличить. Он работал и пил, работал и пил. Когда он возвращался домой, от него разило вином, и я не хотела, чтобы он целовал меня. Но он все равно делал по-своему. Тогда я плотно сжимала губы, а потом ждала, пока он уйдет, и только тогда начинала дышать снова. Затем я выходила к каналу, раскидывала руки в стороны и кружилась на одном месте, чтобы запах его поцелуя унесло ветром.

Лавка моего отца была *cartolaio*⁵⁶, и в ней продавались книги и всякие штуки для них. Его клиенты могли заказать для себя рукописную книгу, чтобы ее изготовили и переплели, или принести старую книгу, чтобы ее украсили новой обложкой или же золотом и темперой нарисовали буквы вверху каждой страницы. В его маленькой темной лавке у Риальто запах краски вытеснял из моего носа запах рыбы, когда я приходила к нему. (Разумеется, мне не разрешалось трогать книги, которые он продавал, и я могла лишь нюхать их, когда он протягивал их мне.) Я вечно просила его: «Поднеси страницу к свету!» – чтобы стали видны водяные знаки: птичка, латная рукавица или даже единорог! Они нравились мне больше слов на странице, хотя я и их научилась читать, причем легко, и читала лучше своего отца.

Отец пытался надеть шуму в городе своей гладкой бумагой, сделанной из тряпок и растительных масел, которая была белее козьей шкуры, но стоила вполтину дешевле и пахла сладкой пылью. Он покупал ее на мельницах на *terraferma* и продавал с прибылью в городе.

Главной целью его честолобивых устремлений стали чужеземцы, которые пришли к нам не так давно и которые говорили, что могут использовать его бумагу для изготовления книг. Это были не те книги, которые переписывали писцы, по одной в год, каждое слово в которых было словно вырезано из дерева. Нет! Это были быстрые книги! Восемь раз по двадцать книг рождались сразу, словно стая мух, и каждая была законченной и хорошей, как и каждое слово в них. Мой отец буквально бредил мечтами о том, что эти книги сделают нас богатыми.

Они пришли с Севера, эти мужчины, которые делали быстрые книги. С собой они принесли маленькие острые инструменты, годившиеся только для книг. Каждый из этих инструментов производил кусочек слова. Каждое слово становилось частью страницы, и так далее.

Однажды отец взял меня с собой, чтобы посмотреть, как эти мужчины с Севера работают над быстрыми книгами. Они делали их в немецком *fondaco* у моста Риальто. Я должна была ждать внизу, пока отец поднимется наверх и узнает, можно ли мне войти и посмотреть на их работу.

И вот я сидела на ступеньках моста и глядела на стекла третьего этажа, и вдруг заметила лицо, которое показалось мне знакомым, хотя раньше я никогда не видела его.

Я ощутила дрожь, которая начинается в затылке и прошивает все ваше тело насквозь, ища выхода. Внизу живота у меня стало горячо, а во рту появился привкус цитрусового ликера, и свет стал каким-то странным, словно солнце подхватило лихорадку и запачкало свой белый глаз.

Я не стала дожидаться отца и взбежала по лестнице в самое сердце *fondaco*. Почему-то я знала, куда надо идти, хотя никогда не бывала здесь прежде. Отец очень удивился, увидев меня. Он стоял рядом с тем человеком, лицо которого я увидела, а тот улыбался и улыбался, но тоже стал бледным, как свернувшееся молоко, завидев меня. У него были светлые, как у цыпленка, волосы, а одевался он строго и чопорно, будто в новый сосновый гроб. Я подняла правую руку, прося их обождать, пока переведу дыхание. Они дали мне отдышаться, а потом я заговорила.

⁵⁶ Магазин канцелярских принадлежностей (*итал.*).

Отец сказал: «Познакомьтесь с моей...», но я остановила его, взяв за руку. Я сказала так быстро, как только могла, и слова водопадом хлынули у меня изо рта:

– Нет, нет! Видишь, мы должны быть вместе. – С этими словами я поднесла ладонь к лицу мужчины, словно флаг, который говорит: «Люби меня».

– Да, – сказал человек с Севера, и в его голосе я услышала скрип снега, сосновых деревьев и шорох языков пламени.

Я заметила, что он всего на несколько лет старше меня, и это показалось мне очень правильным. А потом и он тоже поднял ладонь своей правой руки, словно рыба, подставляющая плавник, или флаг, который говорит: «Да».

Отец перевел взгляд с меня на него и обратно, а потом вдруг постарел за два прыжка блохи. Казалось, он забыл о лошадях и занятиях любовью навсегда, и теперь настал мой черед.

А затем лицо отца расплылось в белозубой улыбке, словно пенная волна перед носом лодки. Я сразу догадалась, отчего он выглядит таким довольным. Потому что в этом торговом городе мы продаем то, что любим, и отец понял, что теперь может продать своего ребенка, то есть меня. И моя цена была такова: человек с Севера получит меня, если станет покупать все то, что делается из тряпья, – то, что называется бумагой, – у моего отца, чтобы печатать свои книги, и не будет обращать внимания на стоимость, если хочет заниматься со мной любовью. А я видела, что он хочет этого всем сердцем.

И я тоже, если с ним.

За то время, которое понадобилось моему отцу, чтобы привезти полную лодку бумаги в дом людей с Севера, я обручилась с человеком, чье лицо было мне знакомо, хотя раньше я его никогда не видела.

* * *

Венделин фон Шпейер писал падре Пио:

...я не забыл о том, что Вы просили нас рассказать Вам все о Венеции. Итак, вот они, мои впечатления. Пока я пишу по-немецки, но на самом деле мой итальянский стал во много раз лучше, и по причинам, о которых Вы легко бы догадались, если бы увидели мое лицо... но вернемся к Венеции!

Как сравнить ее со Шпейером? Шпейер – это кроткая маленькая монахиня. Венеция – прекрасная пиратка. Перед тем, как мы приехали сюда, нам говорили, что венецианцы – распутный и непристойный народ, но, на мой взгляд, они полны не столько плотских пороков, сколько любви к вещам. Мне кажется, они готовы продать душу за специи, краски, ароматические масла и соли из Египта, меха и рабов из Татарии, мягкую шерсть и обработанные металлы из наших северных земель. Я еще не видел города, в котором бы так процветало физическое вожделение к самым разным вещам! И даже если они не нужны Венеции, она все равно любит понюхать их в руках, пока они проходят через нее. По закону каждый мешочек корицы, каждый стручок перца, каждый слиток золота, проходящий через Венецию, пусть даже на пути из Корфу во Фландрию, должен быть продан у Риальто к выгоде города.

Она (потому что Венеция более женственна, чем любой другой город, пусть даже и не совсем благородна) превратилась в хранилище драгоценных и съедобных товаров. И еще вещей столь экзотических форм, что можно только гадать об их происхождении и назначении. Каждый день я встречаю овощи, которые мне незнакомы, и ткани, представить которые не мог в самых сокровенных мечтах. Даже скромные тыквы нарезаются спиралью, на воздушные дольки, просто ради удовольствия. Когда я отправляюсь на про-

гулку со своей невестой (Да! Я не могу устоять перед искушением и не вставить эти сведения в середину моего отчета о Венеции: я скоро женюсь!), то мы часто заходим на рынок, чтобы она могла рассказать мне еще что-нибудь о городе.

«Риальто – наш университет», – говорит она, называя меня студентом, а себя – учителем. Тут она смеется и застенчиво добавляет: «Но в других вещах учителем будешь ты». Едва успев пролепетать эти слова, она заливается румянцем и закрывает свои огромные глаза маленькими ладошками. Я обнаруживаю, что тоже краснею, но в моем теле сталкиваются и бушуют волны удовольствия.

Учитывая, сколько всяких экзотических товаров каждый день появляется у них на прилавках, венецианцы полагают себя персонажами какой-либо восточной сказки, таким хитрым Синдбадом, таинственным, как гжур... но у всех у них этот ориентализм принимает форму загадочной апатии. Они спят дольше любой кошки и считают ниже своего достоинства прийти меньше чем на час позже на назначенную встречу, зевающие и печальные. Они нисколько не стыдятся прислать мальчишку-посыльного и передать, что слишком утомились и вовсе не придут.

Все встало на свои места, когда Люссиета объяснила мне сегодня, что венецианцы изнурены – пропитаны насквозь – этими коллективными мечтами о Востоке, которые завладели (безо всякого их участия, разумеется) их воображением по рассказам путешественников, но, главным образом, как мне представляется, благодаря ароматам и запахам специй на рынке, проникающим в их обоняние и вызывающим чужеземные удовольствия в их мозгу.

Сегодня утром мы стояли на причале, наблюдая, как убегают к горизонту торговые галеры. Моя невеста объяснила мне во всех подробностях (она хорошо знакома с жизнью города), каким образом венецианцы, никогда не покидающие свои роскошные гондолы, отправляют в путешествие вместо себя свои деньги. Например, плавание в Александрию и обратно приносит инвестору тысячу процентов прибыли. Еще более характерным примером является торговля полезными товарами, тем же железом и лесом, ради живописной и картинной роскоши. Я буквально вижу, как надежды и состояния доброй половины Венеции плывут по морю или трясутся на спине верблюда в двадцати днях пути к востоку от Византии. (В конце концов, кораблестроители иногда не спят! Сознать это приятно.)

Когда Вы просили меня описать город, думаю, Вы имели в виду то, как он выглядит. Дома венецианцев ничуть не похожи на все прочие. Они напоминают корабли, всегда готовые совершить вояж в Алеппо или Дамаск! Вы не просто входите в дом венецианца, вы поднимаетесь на его борт. А внутри видите, как солнечные блики, отражающиеся от поверхности волн, пляшут на его стенах, и тогда кажется, будто вы спустились в какой-то подводный город.

Все это, конечно, очень необычно и диковинно. Но мы с Иоганном полагаем, что устроились здесь весьма недурно. Ваш совет оказался нам чрезвычайно полезен, падре: венецианцы выстроили отличный fondaco в Риальто для своих уважаемых немецких партнеров. И впрямь, все купцы Tedeschi должны останавливаться только там – пожалуй, еще и для того, чтобы исключить любую контрабанду или открытие частных предприятий без налогообложения. Именно там мы и начали свое дело.

Подобно торговле Германии с Венецией, здание fondaco возникло и разрослось, словно дикорастущее растение, которое цветет и пахнет, так что его устройство не всегда симметрично, зато приятно. Южный двор, в котором располагаются наши комнаты, может похвастать семью прелестными арками на каждой из своих сводчатых галерей.

У fondaco есть собственные кухни и повара. На первом этаже располагается просторная столовая. Здесь же имеются и хорошие колодцы со свежей водой. Винный склад открыт для нашего удобства всю ночь напролет. За хозяйством присматривает превосход-

ный управляющий, назначенный в прошлом году пожизненно (если ему понравится работа – иначе удержать венецианца в услужении невозможно): выдает свежее постельное белье прибывающим купцам, надзирает за носильщиками, привратниками, лодочниками, весовщиками, штамповщиками и упаковщиками. Сам он подотчетен комитету из трех венецианских вельмож, *visdomini*⁵⁷. Словом, здешнее устройство похоже на колледж или мужской монастырь, тихий и добропорядочный. К каждому купцу приставлен собственный *sensale*, нечто вроде венецианского торгового агента, который дает советы относительно того, какой налог следует уплатить с каждой сделки. Ну и, разумеется, синьор *sensale* должен получить и свою маленькую мзду.

Каждую ночь здание *fondaco* запирают от воров и сумасшедших, которых, с сожалением вынужден я констатировать, полным-полно на улицах этого прекрасного города, хотя, пожалуй, их все-таки не так много, как нам сказали совсем недавно, когда увеличивали плату за нашу охрану.

Мы с братом более не живем под крышей *fondaco*. Наконец-то нам удалось убедить венецианцев в том, что мы – не торговцы; мы приехали сюда, чтобы остаться здесь. Мы станем гражданами после того, как женимся, о чем я расскажу Вам чуть ниже. Мы сняли два небольших домика на площади, известной под названием Сан-Панталон.

Мы оба счастливы с женищинами, которых подыскали себе. Только представьте себе: очень может быть, что в следующем году мы будем качать на коленях венецианских детишек! С другой стороны, мой тесть предъявляет к нам претензии – он поставляет нам хорошую бумагу, но пропивает свои доходы вчистую и хочет, чтобы мы помогли ему. Иоганну в этом смысле повезло больше: его будущий тесть – известный художник-портретист. Но Паола, невеста Иоганна, куда холоднее и сдержаннее моей Люссиеты, так что я очень рад своему выбору, если его можно назвать таковым.

Я учусь не обижаться на венецианцев. А это очень странно! Иногда мне кажется, что я обзавелся здесь настоящим другом; но, когда встречаю его в следующий раз, он смотрит на меня пустыми глазами и едва здоровается со мной на улице, словно я смертельно оскорбил его.

Полагаю, венецианцы похожи на воду, на которой живут: они очень чувственны в своих манерах и вечно жестикулируют, плавно и неспешно, над своими гладкими камнями и перилами, получая от этого невыразимое удовольствие. Настроение их меняется в зависимости от приливов успеха и счастья, света и тьмы. Огромное влияние на них оказывает город: да и разве может быть иначе? Жить в таком удивительно поэтическом месте, полном окон, воды и отражений!

Признаюсь Вам, что и сам я не остался равнодушен к сладострастной чувственности города. Я ощущаю, что любовь к Венеции поселилась в моей душе, где не должно быть места для любви к городу. Но, боюсь, мой энтузиазм по поводу моего нового дома уже утомил Вас, поэтому я умолкаю. Прошу Вас передать эти известия моим родителям, когда Вы увидите их в воскресенье в церкви. На следующей неделе, когда у меня будет больше времени, я напишу им. Меня зовет Люссиета. Моя маленькая конфетка! Она олицетворяет собой качество, которое я могу описать лишь как «сговорчивость», отчего все живые существа, включая меня, склоняются к ней в ожидании удовольствия, которое она доставляет неизменно. Что до меня, то она согревает мое сердце, как горячее пиво! Иногда, завидев ее, я просто воздеваю руки, подобно святым старцам в молитве, и говорю себе на своем новом языке: «Ecco qua! Un miracolo!»⁵⁸

⁵⁷ Здесь: мудрейшие; старейшины (итал.).

⁵⁸ Вот и она! Какое чудо! (итал.)

Конечно, Вы можете сказать, что я до сих пор живу в идолопоклонническом состоянии новобрачного, но я почему-то совершенно уверен в том, что эта благословенная пора будет длиться вечно.

Все это появилось у меня только потому, что Вы помогли нам приехать в Венецию. Я буду всегда от всего сердца благодарить Вас за то, что Вы отправили нас сюда, надре Пио, всегда.

* * *

Восемнадцатого сентября 1469 года *Collegio* Венеции даровало Иоганну фон Шпейеру исключительное право печатать письма Цицерона и «Естественную историю» Плиния «самым красивым из возможных шрифтов». Штрафы и конфискация защищали это право, если какой-либо иной коммерсант вздумает выступить в роли его конкурента.

Иоганн еще не до конца осознавал, чего добился, но немецкие купцы, обступившие его в *fondaco*, чтобы взглянуть на документ, хлопали его по плечам и пожимали ему руку. Они вслух читали имена *Consiliari*⁵⁹: Ангелус Градениго, Бертуччи Контарено, Франциск Дандоло, Якоб Маурецено, Ангелус Венерио – более благородных фамилий в Венеции не существовало.

Маленький человечек, кривоногий и косолапый, похожий на таксу, попытался протиснуться к нему сквозь толпу. Немцы невозмутимо сомкнули ряды, встав плечом к плечу и не пуская его вперед. Послышалось жалобное хныканье, возникла непонятная суматоха и давка, и внезапно его рябое личико и одно ярко-алое ухо на мгновение показались на уровне пояса двух немцев. Голову его прикрывал капюшон накидки.

– Кто это? – с отвращением поинтересовался Венделин. – Я имею в виду, кто он такой?

– Шпик священников из Мурано, – прошипел какой-то купец. – Сама мысль об этой монополии им ненавистна. Если только речь идет не о Библии, причем латинской, то сама идея книгопечатания вызывает у них лютую ненависть.

* * *

Говорят, для того, чтобы вам приснилась ваша будущая любовь, нужно вынуть желток из сваренного вкрутую яйца и на его место насыпать соли. Съесть его необходимо на ужин, перед тем как лечь спать. А для того, чтобы узнать ремесло своего будущего мужа, вылейте белок яйца в стакан с водой. Форма, которую он примет в жидкости, расскажет вам обо всем.

Но мне ничего этого не нужно. Я знала своего мужчину и все, чем он занимался, еще до того, как поняла, что готова принять мужа.

После того, первого дня я виделась с ним ежедневно. Он приходил просить моей руки, встретился с матерью, посватался еще раз и примерил кольцо. (Он встал на колени, чтобы дать его мне!) Он даже научился хорошо разговаривать на языке этой страны, хотя и медленно. Когда он делает ошибку, то так очаровательно хмурится, что я готова расцеловать его. Его самой главной ошибкой было – и остается до сих пор – то, что он ставит слово, обозначающее действие⁶⁰, в самый конец предложения, так что мне приходится ждать, затаив дыхание, чтобы понять, в каком направлении движутся его мысли.

Когда его нет рядом, я очень скучаю по нему. Долгими часами я смотрю на свое кольцо и чувствую свет его маленького голубого камешка. Однажды я увидела своего мужчину

⁵⁹ Здесь: члены городского Совета (*итал.*).

⁶⁰ Люссиета имеет в виду глагол.

на улице. Он не заметил меня, потому что я стояла на втором этаже и смотрела на него сверху вниз. Медленно, словно стражник, он прошел мимо моего дома, понунив голову и погружившись в печальные мысли. Я поняла, что ему плохо без меня, но и мне было плохо без него, и я от всего сердца пожелала, чтобы день нашей свадьбы наступил поскорее.

Девушка не должна думать о том, как будет делить постель с мужчиной, за которого собирается выйти замуж. Но перед глазами у меня все время стоит вот такая сцена: огромный шар земли медленно вращается вместе с нашей кроватью, а мы слились на ней воедино и тоже вертимся, словно флюгер.

И еще один образ я бережно хранила в памяти, образ его лица, которое было мне знакомо еще до того, как я его увидела. Я и подумать не могла, что когда-нибудь выйду замуж за чужеземца! Тем не менее его лицо вовсе не казалось мне незнакомым, совсем наоборот. Иногда оно напоминало мне о родственнике, в которого я была влюблена совсем еще ребенком, который умер или ушел далеко-далеко, а потом наконец вернулся. Иногда оно вызывало у меня в памяти мою первую куклу: она была такой гладкой, розовой, округлой и прекрасной, что мне всегда хотелось прилечь рядом с ней и смотреть ей в глаза до тех пор, пока меня саму не сморит сон.

Когда до свадьбы остался всего один день, я вообще не видела его. Но, лежа в постели в ту ночь, я почувствовала, как его ласковый поцелуй пришел ко мне по собственной воле.

* * *

Благородный вельможа Доменико Цорци, которому уже меньше чем через час донесли о событиях в *fondaco*, потребовал бумагу и чернила. Он написал короткое послание братьям-немцам, поздравив их с монопольным правом и попросив включить себя в список подписчиков первого издания.

— Никому не будет вреда от того, — сказал он вслух, — что мы проявим доброту к этим немцам.

Доменико знал, что фон Шпейеры подкупили *Collegio* красотой начертания своего шрифта. Он сам был буквально зачарован их оттисками, на которых буквы выглядели безупречными, изящными и четкими, словно долька черного скользкого угря, недавно проглотившего яйцо.

К концу дня Венделин и Иоганн получили пятнадцать подобных посланий, написанных аристократической рукой. На свадьбу Венделина, состоявшуюся в субботу на той же неделе, пожаловали трое слуг в ливреях благородных семейств, доставив новобрачным цукаты и прочие сладости на подносах, украшенных гербами из «Золотой книги». Кроме того, в дар им преподнесли вино из *Ca'Dario*, заколдованного палаццо, которым Венделин восхищался в день своего приезда в Венецию. Джованни Дарио, знавший больше всех языков в Венеции, тоже пожелал войти в число первых подписчиков и получателей быстрых книг. Но Люссиета, услышав о том, кто пожаловал им вино, настояла на том, чтобы вылить подношение Дарио в канал.

— Зато на нашей свадьбе никто не отравится заколдованным вином! — заявила она.

Венделин не осмелился протестовать: она была слишком красива, чтобы спорить с ней в такой момент.

Смущенный проявлением подобного внимания со стороны знати, Иоганн весь день чувствовал себя не в своей тарелке. Венделин, запинаясь, повторял слова брачного обета, глядя на свою новую жену такими глазами, словно она была Вифлеемской звездой. Свадебного путешествия не планировалось, поскольку присутствие новобрачного требовалось в *fondaco*. Иоганну нездоровилось: что-то застряло у него в горле, и он практически не мог есть. Силы его таяли, и он просто не мог обойтись без брата. После двух дней, проведен-

ных с Люссиетой в уединении их нового жилища, утомленный, но счастливый, Венделин вернулся к работе, сполна вкусив супружеских удовольствий.

Итак, братья Шпейеры, сами толком не осознавая, какой груз взвалили на свои плечи, взялись за дело и положили начало новой традиции, обучая венецианцев секретам быстрого книгопечатания.

Глава третья

...Брачные узы соединяют все создания. Взгляните на быков, что покрывают своих жен мощными бедрами, Блеющих овец, что забиваются в прохладную тень вместе с баранами, Или на озеро, звенящее от гортанного любовного клекота лебедей. Богиня любви запрещает певчим птичкам Закрывать свои клювы. Соловей выводит свои трели на тополе, Выражая в музыке самую сущность любви...

Свадьба прошла слишком быстро. Слова были сказаны раньше, чем вы ощутили их вкус на губах. И ваша душа не успевает вслед за ними, заходясь в крике.

– По-одождите! – взывает она. – Подождите! Я еще не знаю, куда пристроить это событие в своем сердце. Оно может разорваться.

Итак, мы наконец-то обвенчались в Сан-Джакометто в десять часов утра. Церемония была скромной и быстрой. С моей стороны пришли отец и мать; со стороны моего мужа – только Иоганн и его новая жена Паола. Она должна стать моей подругой (хотя я не представляю, как смогу подружиться с ней, потому что Паола покрывает лицо лаком, так что выражение его разобрать невозможно). И еще писец Фелис Феличиано, который оделся так пышно, словно сам был женихом.

*Acqua alta*⁶¹ засвидетельствовала нам свое почтение. В обморочной сырости полуза-топленной церкви Иоганн надрывно кашлял на протяжении всей церемонии. Мне это совсем не понравилось, потому что каждый новый приступ кашля кровного родственника заставлял моего супруга тревожно морщиться. А Паола, похоже, ничего не замечала, ни разу не предложив Иоганну помощь или хотя бы носовой платок.

Я оглянулась назад, на открытый вход церкви. Снаружи ворковали сизо-черные, как виноград, голуби, а над рыночными лотками, словно свадебные знамена в лучах яркого солнца, поднимались красочные запахи всевозможных специй.

Когда приходит время сказать самые важные слова в жизни, вы говорите мало. Вы просто вслушиваетесь в чужие слова о Боге, престоле, столах и домах, повторяя: «Да, согласна» и «Да, беру», – а потом произносите свое имя и его, и все кончено, и закон соединил вас на всю жизнь.

А потом вы стоите, немая и растерянная, на собственном празднестве, а все вокруг поздравляют вас, но их *auguri*⁶² доносятся до вас, словно с дальнего конца подземного туннеля, пока наконец вы (к счастью) не удаляетесь в комнату, где ваша плоть сливается с его плотью.

Я благодарю Господа за это.

Во рту у меня всего лишь простой язык, но, говорю вам, наша любовь заставляет звезды светить днем. Эта любовь идет на ходулях и достигает небес... и хотя завершается каждый акт любви всегда одинаково, но великолепие и пышность его исполнения неизменно разнятся, словно рассвет и закат.

Отныне мы неразделимы. Даже когда он уходит на работу, а я начинаю заниматься женскими делами, нам достаточно хотя бы на мгновение закрыть глаза, чтобы почувствовать себя вновь в своей постели, и весь день складывается, словно коробка, ведя нас навстречу друг другу с разных концов города.

⁶¹ Полная вода (*итал.*).

⁶² Поздравления, пожелания (*итал.*).

Делать быстрые книги совсем не просто. Я точно знаю, что труднее всего заставить работать мужчин нашего города, настолько они любят дремать и предаваться мечтам. Большинство товаров сами плывут к нам по морю, от нас не требуется ровным счетом никаких усилий, необязательно шевелить и пальцем, не говоря уже о руке. Словно у анемоны, цветущей под водой, все необходимое само течет к нам в рот!

Словом, то, что мужу удалось найти работников, которые до зарезу ему нужны, можно считать не иначе как благословением Божиим: иногда мне кажется, что он должен создать здесь, в Венеции, маленький немецкий мир, который тикает безостановочно и ровно, словно заморские часы.

* * *

Новое искусство механического книгопечатания требовало человеческих рук.

Венделин и Иоганн пошли по улицам Венеции, заходя в выставочные залы, мастерские, книжные лавки и студии в поисках нужных людей, которые могли бы им помочь.

В определенном смысле новое печатное дело почти ничем не отличается от прежнего, порождавшего рукописи: сначала приходит идея, которая потом наполняется содержанием. Поэтому Венделин и Иоганн принялись искать редакторов. Причем, зная о тщеславии ученых-схоластов, братья настаивали на том, что им требуются лишь те, кто способен отбирать утонченные и изысканные манускрипты, исправлять накопившиеся ошибки переписчиков и сочинять заманчивые и привлекательные вступления, равно как и рассыпаться в цветистых благодарностях будущим благородным покровителям.

К ним хлынул поток соискателей, из числа которых они отобрали Джероламо Скуарцафико, запойного приверженца классицизма, и филолога Джорджио Мерулу.

Затем они наняли Бруно Угуччионе, достойного молодого человека из Дорсодуро, который должен был помогать старшим редакторам. Его кандидатуру предложил писец Фелис Феличиано, настоявший на том, чтобы фон Шпейеры непременно встретились с его протеже. Бруно привел с собой на ознакомительную беседу своего старого друга Морто, ныне золотых дел мастера. Он справедливо предположил, что братья-немцы найдут применение ловким пальцам Морто, но, самое главное, юноша лелеял надежду, что в чужеземном предприятии рядом с ним будет работать хоть один знакомый человек.

Был уже вечер, когда Бруно и Морто подошли к *stamperia*. Летний день выдался на редкость прохладным, хотя солнце давным-давно должно было высушить росу. Посему на улицах до сих пор не выветрился запах моря. Даже в полдень листья не отбрасывали тени и, поникшие, лежали на камнях, словно слезы, упавшие много часов назад. Городские собаки думали дважды, прежде чем поднять хотя бы одну лапу: это требовало слишком больших усилий. Солнце оставалось пятнышком расплавленного стекла в небе, ожидая, пока на него обратит внимание вселенский стеклодув. Плотников-венецианцев, занятых сооружением столов и полок для обустройства *stamperia*, охватило непреодолимое желание вздремнуть. Они зевали во весь рот и самозабвенно потягивались, словно до сих пор не жили в своих постелях.

Все присутствующие бросили работу и подняли головы, когда в притихшую комнату вошли двое молодых людей: десять пар глаз следили за тем, как они подошли к столам, подле которых стояли и озабоченно совещались о чем-то негромкими голосами два немецких мастера: Иоганн оживленно жестикулировал, то и дело кивая на гранку, которую держал в руках Венделин.

Братья, одновременно и совершенно одинаковым жестом утерев пот со лба, с благожелательным вниманием уставились на двух молодых людей, один из которых походил на школьника восхитительной наружности, а второй был долговязым и нескладным, с кри-

вым носом, настолько большим, что загораживал свет. Письма от учителей послужили для Бруно достаточной рекомендацией. Более того, с его внешностью он оказался работником, которого приятно иметь под рукой, посему ему сразу же предложили контракт.

Морто, ввиду отсутствия у него ученых рекомендаций, предложили выполнить гравировку на крошечной медной пластине.

– М#м, – пробормотал Венделин, склоняясь над плечом юноши и глядя на безупречную стрелу, которую тот изобразил, – можешь считать, что принят на работу.

* * *

После того как я вышла замуж, мои более опытные подружки сообщили мне, что меня, помимо штопки, ожидает и большая воспитательная работа, касающаяся не только самых обычных вещей. Например, мне предстояло объяснить мужу разницу между грудью матери и жены, а также научить его произносить слова любви, которые я хотела бы слышать, потребовать от него, чтобы он держал задницу на замке и не издавал неприличных звуков и еще более неприличных запахов, и многому сверх того... Но раз мой муж даже не венецианец, заявили они, то он вообще безнадёжен.

Женщины сказали мне, что мужчинам только поначалу нравится любовь их жен. Это, конечно, очень печально, потому что они похожи на избалованных детей, которые, надкусив персик, бросают его гнить или открывают бутылку с крепким подслащенным напитком только для того, чтобы услышать вздох, с которым пробка вылетает из горлышка, и делают один большой глоток, после чего отправляются на поиски пива. Более того, попадают и такие, которые со временем начинают ненавидеть своих жен и даже поколачивают их.

– Женись на ней, уложи ее в постель и закопай в землю, – пропела мне одна из женщин, и мы все изумленно уставились на нее.

Она же заявила, защищаясь:

– Так горланит мой муж, когда приходит домой пьяный.

Но у меня с моим мужем все совсем не так. Ничто не может отравить удовольствие, которое мы получаем друг от друга. Первый раз, когда мы возлегли вместе, был далеко не так хорош, как последний.

После того как мы размыкаем объятия, задыхаясь от счастья, мне нравится засыпать с мужем в нашем доме. Это запущенный и мрачный маленький дом, но мы обжили в нем уже каждый уголок. Я повсюду расставляю цветы, лампы и муранское стекло, так что он похож на небольшой собор, как говорит мой муж.

В каждом окне и месте, куда падает свет, я расставляю кусочки красного, синего, фиолетового и зеленого стекла... Наверное, именно потому нам с мужем так сладко спится, что мы окружены разноцветьем, подобно бенгальским воробьям, которые, как говорят, украшают свои гнезда живыми светлячками.

Просыпаясь, мы снимаем с глаз рваные нити ночных сновидений. Он кладет свою большую голову мне на грудь, и я всем телом ощущаю ее приятную тяжесть.

Иногда, когда мы лежим вот так, меня вдруг охватывает нестерпимое желание стать частью не только его нынешней жизни, но и прошлой. Я хочу знать все, что помнит он. Я прошу его рассказать о своем родном городе, чтобы увидеть Шпейер его глазами. И он начинает рассказывать о гордых священниках, купцах и красивых домах, о том, что Шпейер больше самого Гейдельберга и что его видно издалека.

И тогда я перебиваю его:

– Но где же ваша вода?

– Наша вода? – непонимающе переспрашивает он.

– Да, вода, рядом с которой вы живете.

– Ах, вот оно что, – отвечает он, поняв наконец, что я имею в виду, и раздувается от гордости. – Ну, разумеется, у нас есть Рейн, – с важным видом сообщает он, словно это должно объяснить мне все.

Я с обожанием смотрю на него, гордясь тем, что он знает так много из того, о чем я не имею ни малейшего представления.

Он понимает это, но хочет, чтобы я узнала о Рейне сама, без его помощи. Он хочет видеть меня умной и щедрой и думает, что я такая на самом деле (только потому, что я разбираюсь в хитросплетениях рынка и местного говора, а для того, чтобы узнать, какая завтра будет погода, мне достаточно одного взгляда на море. Но такие вещи для меня столь же естественны, как поцелуи.).

Поэтому он говорит:

– Понимаешь, это – большая река, та самая, что привела меня сюда... – и продолжает рассказывать, голосом рисуя картины. Он описывает горы, через которые перебирался, большие озера Альп и дремучие леса Германии. Все мужчины Севера, утверждает он, страстно любят свои леса. – Лес – это собор, – говорит он, – только более красивый и вдохновенный.

Мысль эта представляется мне чересчур простой и робкой. Мы, жители этого города, любим природу, только когда ее улучшила рука человека. Был ли Гранд-канал так же велик, прежде чем мы выстроили палаццо на его берегах? Думаю, что нет.

Мой муж говорит мне, что палаццо его родного города – закрытые наглухо дома, темные и мрачные. В них много деревянных дверей, усеянных железными шипами и снабженных запорами и подъемными мостами. Жители Шпейера не любят выставлять свои богатства напоказ, чтобы по равнинам не пришла большая армия и не отняла их. Вместо этого они строят сторожевые башни – и построили целых семьдесят шесть штук!

Главная улица имеет в ширину тридцать пять шагов, а дома по обеим ее сторонам высятся строгие и чопорные, украшенные разными барельефами, например сценами битв, которые спасли город от врагов, жаждавших покорить его, а жителей превратить в рабов.

А мы в Венеции чувствуем себя в полной безопасности, поскольку нашим врагам придется плыть по морю, чтобы добраться до нас (к чему они не привыкли, а в своих кораблях ведут себя неуклюже, как свиньи). А если они все-таки окажутся настолько тупы, что отважатся на такой шаг, мы легко заметим их еще на горизонте и обратим в бегство. Однажды генуэзские пираты добрались до самой Чиоггии, но вскоре мы избавились от них.

Мой муж удивляется тому, что я так много знаю об истории и жизненных реалиях. А меня изумляет, что девушкам его города ничего об этом не известно и многие из них не умеют даже читать. Все мои подруги знают грамоту. Моя невестка тоже умеет читать. Даже шлюхи в этом городе образованные, говорю я ему, но быстро перевожу разговор на другое (потому что он всегда просит меня позвать в гости жену Иоганна Паолу, а мне это очень не нравится. Она холодна со мной, как лед, и не желает мне довериться. С ее стороны это очень дурно, поскольку мне приходится одной делать все, чтобы помочь нашим мужьям, а было бы куда лучше, если бы мы занимались этим вместе).

Проститутки Венеции оказались очень удобным поводом, чтобы перевести на них разговор с Паолы, и я объясняю ему многие вещи, которые заставляют его удивленно открыть глаза.

Мы часто беседуем вот так.

Мои подруги, видя меня зевающей у колодца, смеются и говорят, что я не высыпаюсь.

– Это не то, о чем вы думаете, – отвечаю я им (хотя и это тоже, конечно). – Сегодня мы проговорили до четырех часов утра. – Они недоуменно качают головами и спрашивают: – О чем же можно разговаривать столько времени?

Я отвечаю:

– Так бывает, когда вы выходите замуж за мужчину, который не принадлежит к вашему народу. Вы все время открываете что-нибудь новое.

– А как же нюансы? – не унимаются они. – Всякие намеки, мелкие детали, маленькие слова?

А что с ними такого? Я отвечаю им, что если любовь требует попотеть еще и при переводе, то она проникает в самую душу!

Они смеются надо мной и говорят, что мой большой медведь очень скоро мне надоест. Они презрительно смеются над моим счастьем.

Но такое счастье, как у меня, само смеется над насмешниками. И зевает с улыбкой.

Глава четвертая

...Врата, раскиньте свои крылья!

Не успели Морто и Бруно уйти из *fondaco*, как Иоганн фон Шпейер уже отвернулся, хмурясь.

Время летит быстро, и этих двоих уже будет ждать работа, когда они вернутся к нему: работа, которая окупит их содержание.

Братья фон Шпейеры знали, что в этом месяце им предстоит найти сырье и материалы: манускрипты, чтобы превратить их в книги, и бумагу, на которой их можно печатать.

Венделин и Иоганн ненавязчиво убеждали отца Люссиеты в том, что одна его *cartolaio* не в состоянии обеспечить их бумагой. Почтительно и с уважением они отправились в обход города. Предстояло договариваться о выпуске облигаций, пожимать руки, смотреть своими голубыми и серыми глазами в глаза карие, смотреть прямо и без улыбки. А перед этим нужно было вести медоточивые речи и, скромно потупившись, глядеть себе под ноги, потому что самые важные *cartolai* были людьми богатыми и полными самомнения и их самолюбию следовало льстить.

Но на этом смазывание нужных шестеренок отнюдь не заканчивалось. Братья понимали, что обязательно должны учесть и интересы патрициев, в особенности Доменико Цорци, который читал все и знал всех; с потрясающим изяществом и ловкостью он неизменно добивался своего в сенате, обеспечивая льготы и таможенные послабления для тех, кому покровительствовал. Братья не могли рассчитывать на его поддержку, которую он безвозмездно оказал им на первом этапе, как на нечто само собой разумеющееся.

Чтобы найти подходящую краску для печати, Иоганн и Венделин обошли студии всех художников в поисках формовочной краски, вареного льняного масла, скипидара, греческой смолы, марказита, киновари, канифоли, жидких и твердых лаков, купоросного масла и шеллака. Они покупали вино у виноторговцев, чтобы разбавлять им чернильные орешки, и деревянные палки у *falegnami*⁶³, чтобы размешивать свои черные составы. Они наняли высокооплачиваемого составителя красок; его рецепты имели жизненно важное значение для успеха их печатных страниц, на которых буквы будут летать перед глазами, словно подбрасываемые в воздух силой одной лишь мысли.

Для художественного моделирования и отливки шрифтов они подрядили граверов и мастеров работы по металлу, таких как Морто, обладающих твердой рукой и фантазией для ваяния букв в зеркальном отображении на концах закаленных стальных штамповальных прессов.

Они отыскивали опытного ювелира, который согласился работать *compositore*⁶⁴. В его задачу входило складывать маленькие буквы в единую последовательность, готовую для оттиска на бумаге. Он был мастером своего дела, но на всякий случай они наняли заодно и корректора, чтобы тот потихоньку проверял его работу. Братья лично обучали операторов – *torculatori* – работе на печатном станке. Для того чтобы наносить на формы краску, они подрядили студентов и учителей-неудачников.

Венделин и Иоганн наняли ремесленников из монастырских *scriptorie*⁶⁵ и монахинь, чтобы те вручную разукрашивали печатные страницы, ведь они, обладая нежными и ловкими руками, обходились дешевле своих коллег-мужчин и, уж конечно, оказались куда сго-

⁶³ Плотники, столяры (*итал.*).

⁶⁴ Наборщик; композитор (*итал.*).

⁶⁵ Помещение для переписывания рукописей (в средневековых монастырях) (*итал.*).

ворчливее некоторых высокомерных и заносчивых писцов. Последние не желали понимать, что дни их величия сочтены, и по-прежнему презрительно насмехались над типографами, искренне полагая их временным бедствием и чумой.

Венделин попробовал расспросить Фелиса и Бруно о Сант-Анджело ди Конторта.

– Ведь там живет твоя сестра, не так ли, Бруно? А монахины выделяют там буквы красным цветом, украшая манускрипты?

Фелис засмеялся, а Бруно покраснел и опустил глаза.

– Нет, сэр, полагаю, они проявляют куда большее искусство в обращении с иглой.

– Ах, какая жалость, – вздохнул Венделин.

Фелис самодовольно ухмыльнулся, и в глазах у него заплясали озорные огоньки. Венделин охотно продолжил бы допытываться, но он видел, что эта тема неприятна Бруно, и потому занялся более насущными вопросами.

Братья лично занялись обучением иллюминаторов⁶⁶ и писцов, которым предстояло заниматься новым для себя делом – разукрашиванием печатных страниц. Кроме того, им предстояло позаботиться о необходимом количестве золотой фольги, азура⁶⁷ и шафрана⁶⁸ для многотомных и объемистых трудов.

Как только будут напечатаны первые триста экземпляров, каждый фолиант ждала своя судьба. Часть из них отправится в библиотеки благородных вельмож. Такие клиенты пожелают иметь многоцветно украшенные издания; клиенты рангом помельче тоже закажут книги заранее, чтобы сполна насладиться ожиданием, но они могут позволить себе лишь разрисованные красным заглавные буквы на странице. Кроме того, было бы неплохо вручную проштамповать некоторые книги рисунками, вырезанными на деревянных плашках.

Братья договорились с переплетчиками, которые приступят к работе после того, как страницы будут отпечатаны и разрисованы. В их мастерских высокие стопки бумажных листов вложат между деревянными обложками, обтянутыми тисненой или обычной телячьей кожей, и скрепят бронзовыми и кожаными застёжками. Буквы и рисунки будут нанесены позолотой прямо на кожу с помощью раскаленных штемпелей или же залиты краской в оттиски, оставшиеся после обработки обложек.

Листы бумаги, претерпевшие многочисленные изменения, наконец-то вернутся на круги своя. Новенькие книги будут продавать те же самые *cartolai*, что поставляли Венделину оригинальные рукописи и бумагу для их печати. Но и здесь книготорговцев предстоит научить тому, как с энтузиазмом и знанием дела расхваливать свою новинку перед клиентами, обращая их внимание на красоту, одинаковое написание и четкость изобретенного братьями фон Шпейерами шрифта.

К августу все было готово для начала серьезной работы. Казалось, Венделин и Иоганн предусмотрели и преодолели все возможные трудности, поджидающие книгопечатника, с которыми никогда не приходилось сталкиваться изготовителям манускриптов. Они даже свыклись с хромой тенью маленького шпиона из Мурано, который неотступно следил за всеми их передвижениями и начинаниями.

И тут Иоганн фон Шпейер заболел. Организационные мытарства и венецианское жаркое лето, к которому братья так и не смогли привыкнуть, подкосили его. Венделин с растущей тревогой наблюдал, как с каждым днем все сильнее вваливаются щеки Иоганна. Его хриплый кашель отдавался во всех уголках *stamperia*. Грохот машин и разговоры людей то и дело перемежались задущенным хрипом, который издавали легкие Иоганна.

⁶⁶ Иллюминатор – художник-иллюстратор рукописной книги.

⁶⁷ Азур – краситель синего цвета.

⁶⁸ Шафран – краситель темно-оранжевого цвета.

Венделину отчаянно хотелось обнять Иоганна за костлявые, худенькие плечи, но братья стеснялись открыто выражать свою привязанность друг к другу.

– Не волнуйся за меня. Что там у нас со смесью для краски? – прохрипел Иоганн, вцепившись обеими руками в край стола.

На лбу у него выступили крупные серые капли пота. Венделин ощущал исходящий от него запах болезни и жалел брата всем сердцем. Иоганн, и без того невысокого роста, казалось, с каждым днем становился все меньше. Создавалось впечатление, что каждое утро он занимает все меньше места в кожаном кресле за своим столом, начиная походить на большеголового ребенка, упрямо настаивающего на том, чтобы посидеть в кресле отца.

Венделин знал, что жена Иоганна Паола вызывала к нему местных докторов и знахарок, которые мазали грудь и голову ее мужа своими дурно пахнущими снадобьями. Теперь, по словам его собственной супруги, Паола должна была вызвать врача-еврея. Прислушиваясь к затрудненному дыханию Иоганна, Венделин надеялся, что еще не слишком поздно.

* * *

Неужели она не видит, что он смертельно болен? Неужели ей все равно?

Моя невестка Паола не проявляет ни малейшего сострадания к бедному Ио. Вместо этого она постоянно подгоняет его, вмешивается в его дела и задает наглые и неприличные вопросы о счетах в присутствии всей семьи! Как женщина может быть столь мелкой и толстокожей одновременно? Мне остается лишь надеяться, что печатный станок моего мужа работает так же быстро и остро, как и ее язычок.

Существуют и другие, куда более подходящие способы помочь своему мужчине.

Лежа в постели по ночам, я рассказываю ему разные истории о нашем городе. Он обожает их слушать и таким образом узнает о нас больше, что хорошо для его работы. Мои рассказы настолько увлекают его, что на время он забывает о проблемах в типографии и кашле Ио.

Однако же его вкус к историям все-таки отличается от моего. Ему нравятся случаи, которые можно объяснить с точки зрения здравого смысла или человеческой натуры. Когда же я завожу речь о привидениях, он начинает ерзать в постели и просит меня прекратить, но не потому, что ему страшно, а потому, что он – немец.

Разумеется, весь мир с открытым ртом глазеет на рынок у Риальто, и именно туда я отправляюсь за новыми историями, одновременно тыкая пальцем в дыни или поднося яйца к свету.

В эти дни у Риальто особенным успехом пользуется история о супругах, выращивавших цыплят на ферме в Сант-Эразмо. У жены была большая грудь, которая служила источником радости и восторга для мужа. Да и жена очень гордилась ею. Ее груди, говорила она, удерживают мужа подле нее, словно приклеенного.

Однажды жене взбрело в голову, что она может высидеть цыпленка между своих грудей. Ночью у них умерла наседка, оставив после себя в гнезде маленькое яичко. Жена увидела его, одинокое, словно крошечная белая слезинка, и стала сокрушаться о наседке, которая была ее любимицей. Она подняла яйцо и положила его в ложбинку между грудей. Наверное, после смерти матери ему поначалу было холодно, но потом оно пригрелось на груди у женщины – и вскоре порозовело от ее тепла. Мысленно я так и вижу его, крошечное пятнышко на фоне ее белой кожи... но что-то я отвлеклась. У этой сказки печальный конец.

Потому что ее мужу не нравилось видеть яйцо на том месте. Говорят, что по ночам, когда они лежали в постели, жена не позволяла ему заниматься с ней любовью, боясь,

что если она уберет яйцо, оно погибнет от холода, а если оставит на прежнем месте, то они раздавят его, когда начнут совокупляться.

Итак, муж оставался неудовлетворенным и мог лишь пожирать глазами ее груди, где, по его мнению, должны были находиться лишь его голова и губы. Я прямо вижу его взгляд, кислый, словно консервированная селедка, – а как бы чувствовал себя на его месте мой муж, если бы я предпочла ощущать на своей груди яйцо, а не его руки или губы?

Как я уже говорила, у этой истории оказался несчастливый конец, потому что терпение мужа лопнуло. Он схватил топор, чтобы разрубить яйцо, а его жена, даже видя блеск стали, заверещала, что не станет выбрасывать его. И тогда он проклял ее и заявил, что если она любит яйцо сильнее его, то она ему больше не жена. А она всхлипывала, говоря, что яйцу ее тепло нужнее, чем ему, потому что наседка умерла. Тогда он крикнул, что ему нужна физическая любовь, а если жена отказывает ему в этом, то она должна умереть.

Соседи услышали их крики, за которыми раздался ужасный шум – удар топора, который разрубил надвое сначала яйцо, а потом и ее сердце.

Мой муж побледнел, а потом спросил:

– Это правда? – И я дала ему утешительный ответ, сладкий, как корень сандалового дерева, так что он позабыл не только о своем вопросе, но и вообще обо всей этой истории.

Впрочем, я не рассказала ему всего – например, того, что эта история настолько тронула меня, что я решила попробовать положить яйцо себе на грудь, подошла к коробке и взяла одно оттуда. Но груди у меня не настолько большие или обвисшие, чтобы удержать его, и то яйцо, которое я выбрала – большое и коричневое, – упало на пол и разбилось у моих ног.

Убирая осколки скорлупы и желток, я спросила себя, а сможет ли моя невестка удержать яйцо на своей чахлой груди.

Разумеется, ей и в голову не придет попробовать. Точно так же, как не придет в голову позвать еврея, чтобы он вылечил Ио, хотя тот угасает на глазах. Есть такой доктор по имени Рабино Симеон, который спас моего отца от чумы в прошлом году. Он живет в Сан-Тривазо и всегда приходит по вызову, причем не только к богатым, но и ко всем, кто в нем нуждается. Я уверена, он бы помог Иоганну.

Но Паола – приверженка старых идей и традиций, и она ненавидит его народ: я сама слышала, как она говорила об этом.

– Не печатайте их трактаты, их никто не купит, – заявила она однажды моему мужу и его брату, и я покраснела от стыда за нее, услышав, что она берется отдавать приказы мужчинам.

От нее буквально разит гордыней; она – самая упрямая, безжалостная и озлобленная женщина, которую я когда-либо встречала. У нее лошадиное лицо и дыхание тоже. Когда она наклоняется ко мне, я улавливаю вонь гнилой зелени.

Нет, она не позовет еврея, чтобы спасти Иоганна. Она придает куда большее значение черствым догматам и звону монет, чем любви к собственному супругу, пусть даже рискует при этом его жизнью.

Я говорю своему мужу, что Паола должна позвать еврея.

Мой муж полон сомнений, а я настаиваю на том, что евреи – лучшие доктора. Венецианские лекари – всего лишь лакеи в больших париках с длинными языками, только и способные, что расточать комплименты благородным дамам.

– Полагаю, Паола запрещает даже думать об этом? – спрашиваю я с презрением в голосе. Он качает головой в ответ: он всегда защищает ее.

– Ты боишься евреев? – спрашиваю я его. – Быть может, ты просто не знаешь их? Или считаешь их грязными? Или в Шпейере их просто нет?

Он отвечает мне, что дело совсем не в этом и что в Шпейере живет много евреев. Относятся к ним хорошо, и они пользуются уважением. Живут они в собственном квартале, где проводят мессы в своей церкви и где у них есть даже особая купель, которая называется *миква*, чтобы совершать омовение перед молитвой.

— Так что нет, — говорит он мне, — они мне знакомы, и я не считаю их грязными. Напротив, они — очень чистый народ.

— Тогда давай позовем этого Симеона. Я слышала, он творит настоящие чудеса.

Но он все еще колеблется, и я вдруг понимаю, в чем дело. Я думаю, он догадывается, что у Иоганна — легочная чахотка, из тех, что невозможно вылечить, и хороший доктор скажет ему правду, которая окажется для него невыносима.

А Паола ничем не показывает, что понимает, какая опасность ей грозит. Как она может оставаться такой холодной? Если я потеряю своего мужа или его любовь, то не захочу больше жить. По мере того как идет время, я люблю его все сильнее, и страсть моя с каждым днем становится все горячее.

* * *

Бруно и Морто, да и все остальные недавно нанятые работники с тревогой поднимали головы, когда мимо них проходил Иоганн фон Шпейер, кашляя, как промокший кот. Он все реже и реже появлялся в *fondaco*, предоставив Венделину управляться одному. Однажды они услышали, что Иоганн фон Шпейер слег окончательно. После этого на работе его больше не видели.

Венделин же удвоил усилия, прилагаемые им для изучения венецианского диалекта. Он твердо вознамерился свободно овладеть им, чтобы между ним и работниками *stamperia* не существовало хотя бы языкового барьера. Отныне его задачей стала передача знаний, которыми до сей поры владел один лишь Иоганн и в меньшей степени он сам. Теперь, когда Иоганн перестал показываться на людях, он должен был во что бы то ни стало обрести в их лице союзников. Он знал, что должен научиться разговаривать руками, как все венецианцы. Руки, свободно висающие вдоль тела во время разговора, выдавали в нем чужеземца.

Его супруга страстно желала, чтобы он свободно говорил на ее родном языке, и потому предложила ему пригласить Бруно Угуччионе, милого молодого человека, чтобы тот приходил к ним домой после ужина и обучал своего *sapo*⁶⁹ тонкостям венецианского диалекта. По городу ходили слухи, что Бруно связался с неподходящей женщиной, и Люссиета решила проявить любезность, уведя его с улицы и дав возможность проводить время в любящей семье.

Разумеется, супруга Венделина желала ему только добра. Она и не подозревала о тех вспышках ревности, что вызывала в молодом редакторе, ероша светлые волосы супруга или прижимаясь к нему щекой, чтобы потом поцеловать его в нос.

* * *

Венделин стал работать еще усерднее. Он не мог спать. Пока Иоганн изнемогал под влажными простынями, день ото дня становясь все более неподвижным и молчаливым, Венделин чувствовал, что живет за двоих, с повышенной остротой реагируя на любое физическое ощущение. Ранним утром ему казалось, что певчие птицы умоляют рассвет наступить поскорее; когда он проходил через садик во дворе, растения и цветы выделяли росу,

⁶⁹ Начальник, главарь, командир (*итал.*).

которой срочно нужно было вознестись на небо. Его оглушал едва различимый непонятный шум, и он сообразил, что слышит, как трещит бутон розы, готовый раскрыть лепестки.

Он так и не смог заставить себя вызвать доктора-еврея. Паола наотрез отказалась от этого предложения, а он не мог пойти против нее. Каждое утро он навещал брата, садился у его кровати, брал его восковую руку в свои и говорил с ним о делах. Глаза Иоганна поблескивали в тусклом свете. Но Венделин не мог бы поручиться, что тот слышит все, что он ему говорит. Он утешался мыслью, что рассказывает ему обо всем. Иоганн всегда очень хотел знать о том, что происходит в *stamperia*.

По ночам, лежа в постели, Венделин крепко прижимал к себе жену, вслушиваясь в ее негромкое дыхание и замирая от страха, если какой-либо ее вдох казался ему медленнее предыдущего. Как-то утром, спеша на работу, он увидел, как в дальнем конце Гранд-канала быстро поднимается солнце, и погрозил ему кулаком, воскликнув:

– Подожди! Подожди меня, подожди Иоганна. Пожалуйста! Подожди.

Но три недели спустя в одном из кабинетов *Collegio* клерк небрежно нацарапал на документе, гарантировавшем печатную монополию Иоганну фон Шпейеру: «*Nullis est vigoris, quia obit magister et auctor*». «Аннулировано в связи со смертью вышеупомянутого мастера и подателя сего».

Глава пятая

*...Брат, через много племен, через много морей переехав, Прибыл
я скорбный свершить поминовенья обряд, Этим последним тебя
одарить приношением смерти И безответно, увы, к праху некому
воззвать... и навек, брат мой, привет и прости!*

Венделин повез тело брата обратно в Шпейер.

Он не мог похоронить Иоганна в ненадежной земле плавучего города, несмотря на то, что смерть была ему к лицу: красота его была какой-то болезненной и нездоровой, но Венделин чувствовал, что Венеция недостаточно *материальна*, чтобы благополучно принять в себя тело брата. Его посещали ужасные видения: вот исхудавший труп восстает из грязи, а руки по-прежнему сложены у него на груди. Или что он встречает его, плывущего вниз по каналу, переходя через мост. Уже на следующий день после его смерти Венделин решил, что Иоганн должен быть похоронен в добротной и твердой немецкой земле.

Когда слухи о решении Венделина достигли *stamperia*, тамошний люд предположил, что он сошел с ума и более не вернется. Мужчины принялись заранее оплакивать печатное производство – его очарование, будущие доходы и приятную семейную иерархию, которая уже начала складываться там, – но никто не жаловался. Упрекать Венделина в том, что он скорбит об умершем брате, было невозможно.

Его жена, которой Венделин признался в своих мотивах, лежала рядом с ним в постели, рисуя в своем воображении картины его страхов, чтобы и самой проникнуться ими.

– Да, – согласилась она, преисполнившись этого темного ужаса, – мы должны принять их во внимание, но можем ли мы позволить им угрожать нам опасностью?

Она мягко напомнила ему о том, сколько времени займет путешествие, а ведь тело, пока еще свежее, очень скоро перестанет быть таковым. В ответ он возразил ей, что вот-вот начнутся холода. Повсюду уже выпал снег, и бродяги замерзали в дверных проемах. По утрам их подбирали подметальщики улиц, которые закрывали им глаза и оттаскивали в ближайшую церковь.

– Подумать только, ты хочешь перевезти тело через все Альпы! – не оставляла она попыток переубедить его. – Каким образом? Ни одна повозка не проедет по горам в сезон высоких снегов.

– Мы что-нибудь придумаем.

– Разве не можем мы отправить Иоганна с надежным посыльным? Его душа уже давно двинулась в путь.

– Нет, ради брата я должен сделать это сам.

Заметив, что он заупрямился (о чем неизменно свидетельствовал его возврат к немецкой грамматике даже при разговоре на венецианском диалекте), супруга Венделина заявила, что поедет с ним. Она не желает разлучаться с ним, сказала она. Поначалу он было решил, что это – всего лишь дань вежливости и сочувствию, но то, что она повторила свое намерение без пафоса и надрыва, заставило его поверить, что она говорит серьезно. Он попытался переубедить ее, но потом вдруг осознал: мысль о том, что она составит ему компанию, обезоружила его самого. Венделин согласился: пусть едет, по крайней мере, до Альп, а там тяготы пути, не сомневался он, заставят ее вернуться. Кроме того, существовала возможность, учитывая энтузиазм и частоту, с какой они занимались любовью, что в любой момент может обнаружиться ее беременность, и тогда он ни в коем случае не позволит ей подвергать ребенка опасности.

Неделей позже они выступили в путь. Тело Иоганна, хранившееся в боковом приделе собора Святого Варфоломея, было обложено льдом.

– Видишь, – сказал Венделин жене, – мы сохранили его.

В ответ та запричитала:

– Да, пока что, но мы должны опасаться первого же луча солнца!

Паола ничуть не возражала против их плана; она лишь распахнула свои бесцветные глаза и согласно кивнула. Это она позаботилась о том, чтобы тело Иоганна омыли в уксусе и мускусе, а потом положили вместе с алоэ и прочими специями в свинцовый гроб, обшитый кипарисом.

Погода благоприятствовала их планам. В канале Brenta, по которому лошади тянули их лодку против течения в сторону Падуи, вода была серой, как камень, и поверхность ее не искрилась отражениями. Головная крытая повозка, везущая их на запад, в Брешию, подпрыгивала на неровностях унылого каменистого ландшафта.

Когда они поднялись в горы, всех своих сочных красок лишилась и земля. Небо пронзали бледные пики, казавшиеся полупрозрачными гигантскими пальцами. Вьючная лошадь, к которой был приторочен ужасающе маленький гроб с телом Иоганна, понуро брела вперед, опустив голову к земле. С другой стороны седла, чтобы уравновесить гроб, покачивался мешок с обработанными венецианскими переплетами и пакетами со смесью красок для падре Пио в Шпейере.

Остальные вьючные лошади следовали за ними на некотором расстоянии. Венделин, глядя на коня с телом брата, обнаружил, что монотонность пути заставляет его мысленно вспоминать литанию. Он не удержался и принялся нараспев декламировать ее про себя, под ритмичный перестук копыт собственной лошади: «Мой брат и то, ради чего он умер, мой брат и то, ради чего он умер».

Рядом с ним ехала Люссиета, так близко, как только могла, и держала его за руку.

* * *

Зачем я поехала? И разве можно было остаться? Как могла я отправить своего мужа в столь печальное путешествие совсем одного?

В конце концов я поняла, почему он должен был сделать это. Тело Иоганна должно отправиться на Север. Он никогда не связывал свою кровь или душу с Венецией так, как к этому стремился мой муж. Он не смог овладеть наречием нашего города. Его жена была холодна с ним: Паола сама не была венецианкой и замуж за него выходила, уже успев побыть вдовой. Эти уроженцы Сицилии такие странные: с маленьким телом и огромной гордыней. Они способны грустить и печалиться десятилетиями. И Паола такая же. Я знаю, что не нравлюсь ей. Втихомолку и с деланной улыбкой, так, чтобы никто не смог обвинить ее в недоброжелательстве, она издевается надо мной, и каждое ее слово болью отдается у меня в ушах.

– Какая славная материя, – говорит она, имея в виду мое платье, сама вся из себя чопорная, словно монахиня во время крещения. Другими словами, мое платье плохо сшито и совершенно мне не идет. Сама же она, естественно, как всегда, элегантна и безупречна.

Я никак не могла представить себе Иоганна и Паолу, соединенных актом любви: куда легче было вообразить их склонившимися над конторской книгой домашнего хозяйства. Их брак носил сугубо деловой и приземленный характер. Тем не менее в нем должна была присутствовать и любовь, поскольку у них сначала родилась дочь, а потом и сын, вдвоем к двум мальчишкам, оставшимся у нее от первого брака с мужем-сицилийцем. Дети Иоганна, пусть даже совсем еще маленькие, характером пошли в Паолу, и мы нечасто видели их в своем доме. Меня не покидает ощущение, что Паола лишь временно одолжила Иоганна у Шпейера и он никогда не принадлежал ей целиком, как мой муж – мне.

Так что да, останки Иоганна должны отправиться домой. Я не понимаю лишь одного: почему именно мой муж должен везти их?

Вся эта идея была мне ненавистна. В глубине души я боялась, что если мой муж вновь придет в Шпейер после того как в Венеции его постигло такое горе, он не захочет возвращаться обратно. Я думала, что если поеду с ним и буду ежечасно напоминать ему о радостях нашего города, он не забудет его необыкновенную красоту и не станет надолго задерживаться вдали от нее.

Кроме того, я считала, что обязательно должна поддерживать в нем чувство гордости. Без Иоганна он растерялся и стал бояться, что в одиночку не справится с их совместным деловым предприятием и оно развалится и зачахнет. И еще я знала, что если все дни этого долгого пути он будет один, то начнет мысленно рисовать себе самые черные картины. Хотя я не питала радужных ожиданий в отношении книгопечатания, которое целыми днями удерживало его вдали от меня, но никогда и не хотела, чтобы он бросил это занятие. На самом же деле я уже придумала, как помочь ему поскорее освоиться в городе, и надеялась, что за время пути сумею обсудить с ним свои идеи.

Такие я имела добрые намерения, но наше путешествие изначально не могло быть счастливым, не так ли? Все милые слова, которыми я хотела усладить его слух, вскоре замерли у меня на губах. Вместо благозвучия в собственном голосе мне все чаще слышались ворчливые придирки старой карги. И чем неудобнее я чувствовала себя в пути, тем заунывнее звучали мои жалобы.

Мы ехали и ехали, покачиваясь в седлах, а наши лошади иногда даже ухитрялись ронять на ходу конские каштаны. Несмотря на это, круп идущего впереди коня заставил меня вспомнить о том, как я появилась на свет. Облизнув губы, я взглянула на своего мужа, чтобы понять, не текут ли его мысли в том же направлении. Кроме того, я надеялась, что он предложит сделать остановку, чтобы мы могли ненадолго удалиться в кусты. На мгновение подобная перспектива приободрила меня, но все кончилось ничем. Теперь, когда тело Иоганна вытянулось в ящике позади нас, а макушки высоченных деревьев притягивали взор моего мужа, обращая его к Господу, он и думать забыл о той истории, которую я однажды рассказала ему, – о поездке моих отца и матери на двуколке. Он лишь держал меня за руку и гладил по голове.

«Что ж, так тому и быть», – вздыхала я про себя.

Иногда я больше не могла выносить толчков и рывков своей лошади и требовала, чтобы меня ссадили на землю, дав возможность пройтись немного. Но вскоре земля начинала бить меня по подошвам так, что ноги отказывались нести меня, и мне приходилось просить вновь подсадить меня в седло.

В прудах, мимо которых мы проезжали, неподвижно стояли длинноногие серые птицы, больше похожие на привидений, устремив на нас свои клювы, словно упрекая в чем-то. Вероятно, внимание их привлекал раскачивающийся гроб с телом Иоганна. Да и люди, которые попадались нам на пути, наверняка истово крестились при виде деревянного ящика, а иногда плевали через плечо, отгоняя злого духа.

Некоторым людям, среди которых есть даже венецианцы, нравится путешествовать. Не могу понять почему. Большинство завязтых странников просто невыносимы, они преисполнены самодовольства и историй, столь же невероятных, как и цвет их лиц. Нас с мужем приводили в содрогание эти вульгарные люди, напыщенные священники, купцы-всезнайки, которых мы встречали в пути: они страшно действовали нам на нервы, но при этом заставляли острее чувствовать удовлетворение друг другом!

Я боялась гостиниц, в которых мужчины пожирали меня глазами, ибо муж объяснил мне, что встречаются и такие мужчины, которые продают своих жен на ночь незнакомцам, чтобы заплатить за проезд. В таких гостиницах мой муж, настоящий великан, укладывал

меня сверху, и я спала у него на животе, а он обнимал меня, и я чувствовала себя в полной безопасности.

Как ни странно, но мне куда больше нравилось ночевать в курятниках — да, мы останавливались и там. Я полюбила засыпать под негромкий шорох сидящих на насесте птиц. Их сонное квохтанье напоминало мне журчание воды в канале, протекавшем на окраине города.

— Правда, это похоже на наш дом? — с хитринкой спрашивала я у него. — Какие славные звуки, верно?

Но он не отвечал, и я видела, что, хотя мы проехали совсем немного, слово «дом» уже обрело для него двойной смысл и главное место в его душе вновь занял Шпейер.

* * *

Дороги становились все круче. Перейдя через Вальтеллину, они стали подниматься по проходу, ведущему к Априке. Спутники и попутчики, отдыхающие за кружкой пива в гостиницах, с усмешкой говорили им, что эти скользкие и опасные тропки нужно рассматривать всего лишь как репетицию к пыткам, которые уготовили им высокие Альпы. Венделин, вспоминая свое путешествие в Италию, знал, что это правда, и не оставлял попыток убедить в этом жену.

— Как бы холодно и ветрено здесь ни было, какой бы усталой ты себя ни чувствовала, если ты намерена перейти со мной через Альпы, то должна понимать, что там эти тяготы возрастут вдвое или втрое. А ведь есть еще разбойники с большой дороги и кое-что похуже...

Его супруга невозмутимо отвечала:

— Они нас не побеспокоят, когда увидят гроб. Никто не захочет связываться с похоронной процессией. — Она сжимала губы, так что они превращались в тонкую линию, и говорила: — Едем дальше.

Венделин ощутил, как на него нахлынула теплая волна огромного облегчения. Он и представить себе не мог, что будет делать без ее объятий по ночам и ее сонного мягкого дыхания, щекощущего ему шею во сне.

Каждую ночь, сгрузив гроб с телом Иоганна в стойле или сенях, которые неохотно предоставлял им очередной хозяин, Венделин на некоторое время оставался наедине с братом, после чего обязательно благодарил лошадку, которая целый день везла на себе столь тяжкую ношу.

Он вслух разговаривал с гробом Иоганна, желая брату доброй и покойной ночи, после чего присоединялся к жене в гнездышке из одеял, которое она уже согрела для него.

Но бывали и другие ночи, когда он сидел на соломе, положив одну руку на гроб, и повеял Иоганну свои страхи и опасения насчет *stamperia* и ее сотрудников.

— Как мне быть дальше, Иоганн? — растерянно спрашивал он. — У меня нет того упорства и силы воли, которыми обладал ты. Я распорядился, чтобы во время нашего отсутствия людям платили по-прежнему. Но ты же понимаешь, что имеющихся денег нам хватит лишь до будущей весны. Что же мне делать?

* * *

Меня тошнило, у меня подгибались ноги и кружилась голова, словно я выпила чего-нибудь крепкого. Тишина вокруг стояла такая, что мне казалось, будто я слышу дыхание птиц.

Мне не нравились домики, приткнувшиеся на вершинах гор, черные крыши которых походили на сложенные крылья баклана.

– Где же вода? – мысленно стенала я. – Где она?

Муж, однако, слышал меня и при случае указывал на ручейки и водопады.

Но это была не та вода.

Здесь, наверху, вода находилась в плену у земли. Она напарывалась на острые скалы в руслах мелких речушек и бросалась вниз с отвесных обрывов, словно желая покончить с собой, потому что не могла более выносить мук высоты.

– Бедная вода, – шептала я себе под нос.

Тем временем ветер, словно зверь, почуявший добычу, забирался мне под накидку и хватал за ноги.

Лошадь, везшая на себе гроб с телом Иоганна, переставляла ноги все медленнее и медленнее, задерживая всех нас. Мы останавливались посреди дороги и двигались дальше, не оборачиваясь, лишь заслышав позади себя запаленное дыхание вьючного коня.

В пути я прониклась еще бóльшим уважением к своему мужу. Подумать только – этот смертельно опасный путь они с Иоганном проделали вдвоем, ничего не зная о нашем городе и надеясь лишь на то, что он хорошо примет их. Теперь, когда он двигался по нему в обратном направлении, я видела, что он и сам думает об этом. Приехав в наш город, он потерял брата и начал большое дело, которое могло лишить его всех сбережений, прежде чем начнет приносить прибыль.

– Стоило ли оно того? – поинтересовалась я у него однажды.

– Стоило, если взамен я получил хотя бы один поцелуй твоих губ, – улыбнулся он, с трудом переводя дыхание после долгого подъема. (Он ведет мою лошадь в поводу и часто спотыкается, так что его колени и запястья покрыты синяками и ссадинами, но при этом успевает посмотреть на меня, проверяя, не оступилась ли моя лошадь и не грозит ли мне опасность.)

В этот момент над нашими головами на юг пролетел клин гусей. Я с тоской проводила их глазами, и мой муж с сожалением проследил за моим взглядом.

* * *

Когда они приблизились к предгорьям Альп, Венделин вновь предложил супруге вернуться домой, в Венецию.

На горных перевалах их каравану предстояло расстаться с повозками с продовольствием. Дороги для колесного транспорта через Альпы не существовало: пересечь их можно было только на вьючных лошадях, пешком да на лодках, если на пути попадались озера. Им предстояло дойти до Базеля, который стоял на Рейне, а уже оттуда на речной лодке добраться до Шпейера.

Но прежде дороги поднимутся на такую высоту, где вершины гор тонут в тумане. Температура упадет еще сильнее, чем сейчас, а по ночам проходы будет затягивать черным льдом.

Когда почти пятьсот лет назад император Генрих IV переходил через Альпы, весь его двор усадили на воловь шкуры и вот так, словно на ковре-самолете, на веревках перетянули через проходы. Нынешним путешественникам о такой роскоши оставалось только мечтать. Если очень повезет, им могли предложить воспользоваться кастильской молотилкой – стволом дерева с ветками и листьями, привязанным к быку, который при движении расчищал снег, прокладывая путь лошадям.

Кроме того, существовала и опасность лавин, так что каждый час слугам приходилось палить из мушкетов в воздух, чтобы вызвать сход рыхлых снежных масс. Один неверный шаг в любую сторону – и подвижный снег под ногами увлекал неосторожного путника вниз, где тот и оставался в безымянной могиле в двухстах футах ниже по склону.

В проходах бродили и стада лохматых овец, приводивших Люссиету в ужас. Ходили упорные слухи, что в Альпах близ Люцерна водятся драконы, а в озере поселился призрак Понтия Пилата.

Когда она услышала об этом, глаза ее испуганно расширились, но, крепко держась за руку Венделина, она заявила, что ни в коем случае не оставит его.

* * *

Поначалу это было всего лишь неприятно.

Иногда даже случались такие хорошие моменты, когда я сама наслаждалась красотой здешних мест. Деревья были усыпаны позолотой, похожей на корочку на подгоревшем кремовом пудинге. Мне нравилось смотреть, как птицы срываются стаями с веток при нашем приближении, с шумом крыльев уносясь прочь. Я полюбила быструю смену настроений в эти короткие дни: резкий поворот идущей на подъем дороги, и в три часа пополудни начинаются печальные и долгие вечерние сумерки. Я каждый день с трепетом ожидала этого момента, но всякий раз он заставлял меня врасплох.

На протяжении многих миль мы ехали за телегой, нагруженной деревьями, словно высокородные господа и дамы, которые путешествуют лишь в сопровождении собственного сада, чтобы окружающий вид ни на мгновение не разочаровал их избалованный взор.

Иногда мы ехали над облаками. Я видела, как белый туман клубится у нас под ногами, а мы находились на такой высоте, что мне казалось, будто в любой момент Господь может взглянуть с небес на нас, тех, кто осмелился вторгнуться в его царство золота – потому что оно действительно было золотым. Свет искрился мягкой желтизной, а горы набросили на себя огромные позолоченные накидки. Признаюсь, мне бы хотелось, чтобы этот Господь сказал, глядя на нас из-за облаков: «Возвращайтесь обратно в Венецию. Предоставьте Иоганна моим заботам».

Но Господь так и не явил нам свой лик, и вскоре мы спустились прямо в облака, где брели, как слепые. Лошади были связаны длинной веревкой, и каждый шаг давался нам с трудом и внушал ужас.

А вот холод оказался пока еще не так ужасен. Мы обматывали грудь пергаментом, чтобы сохранить тепло и избежать самого худшего. Зато ноги мерзли постоянно. Иногда по вечерам хозяйка какой-нибудь очередной гостиницы, сжавившись над нами, заставляла нас опустить ноги в таз с холодной водой, после чего кружками добавляла в нее кипяток, пока мы не начинали чувствовать их вновь.

Я возненавидела высокие горы. Меня тошнило от одного взгляда на них, и я много раз орошала бока моей лошади содержимым своего желудка. Да и для животных это место было неподходящим, и им приходилось претерпевать ужасные изменения, чтобы жить здесь. У всех коров, например, ноги с одной стороны были намного короче, чем с другой, чтобы они могли удержаться на крутом склоне. Это было неестественно, и здешняя земля походила на старую куртизанку, которая лежит на боку, а все у нее свисает и соскальзывает вниз. Я возненавидела мрачные ложбины и шрамы горных ущелий.

Постепенно я начала понимать, почему здешние жители придают такое большое значение Богу. Разумеется, мы, венецианцы, тоже верим в другой мир, но он столь же восхитителен, как и этот, и очень похож на него. Мужу я объяснила, что в ясные дни мы видим, как весь наш мир отражается в воде, и что в этом искрящемся и сверкающем видении и воплощено наше представление о рае.

В горах я не чувствовала, что стала ближе к Богу.

Я рассказала мужу о своих мыслях, и, наверное, только ради того, чтобы убить время, он затеял со мной спор. Мягкий и любящий, естественно.

– Нет-нет – в этом и проявляется воплощенное величие Господа, – настаивал он. – Это нечто вроде Голгофы на земле. Потому что когда мы боремся здесь, внизу, наши души и тела становятся чуточку ближе к краю небесному.

– Здешние места ничуть не похожи на созданные Богом. Эти горы выглядят так, словно какие-то гигантские чудовищные собаки рыли норы передними лапами, отбрасывая кучи земли.

Разумеется, об Альпах ходят жуткие легенды и предания. Здесь живут привидения и призраки. По вечерам в гостиницах и на постоялых дворах путешественники шепотом пересказывали нам страшные истории. Если мой муж вставал из#за стола, они понижали голоса и наклонялись ко мне, дабы поразить меня новыми ужасными подробностями.

Но самое отвратительное заключалось в том, что Альпы, о чем известно даже в Венеции, буквально кишат самыми разными драконами – летающими, ползающими и просто дурно пахнущими. Нам рассказывали, что их видели многие уважаемые и достойные доверия путешественники, так что каждое новое столкновение лишь подтверждало ужасную правду о том, как выглядят альпийские драконы: голова рыжей взлохмаченной кошки с усами и сверкающими глазами, чешуйчатые лапы, змеиный язык и раздвоенный хвост. Передвигаются они на задних лапах, прыжками, как богомолы, или же, разбежавшись и подпрыгнув, взмывают в небо, неизменно выставляя перед собой короткие передние лапы.

* * *

Дорога становилась все труднее и карабкалась все выше. На перевале Сен-Готард ветер буквально валил с ног, а оставшийся за ними след, отмечавший пройденный путь, был ничтожно мал и полностью виден с места очередной остановки. Опасаясь лавин, путешественники набили колокольчики своих мулов шерстью и подвязали их язычки. Вьючная лошадь, везшая на себе гроб с телом Иоганна, едва не погибла из#за того, что смолк привычный перезвон. Она, очевидно, повредила рассудком и три раза перекувыркнулась через голову. От четвертого, наверняка ставшего бы для нее смертельным кувырка, поскольку она оказалась уже на самом краю глубокой пропасти, ее спасло присутствие духа одного из погонщиков и его твердая рука, которой он поймал ее за хвост и сильным рывком заставил опуститься на колени, так что она принялась реветь с пеной на губах.

Гроб оставался закрытым, но еще много часов после случившегося маленький караван двигался в полном молчании; перед мысленным взором путешественников стояли останки бедного Иоганна, наверняка теперь переломанные и перемешанные.

Жена Венделина вытягивала шею, высматривая драконов с кошачьими головами. Но на глаза ей попадались лишь необычные северные воробьи, перья которых на голове были обесцвечены.

– Маленькие бедняжки, – шептала она.

Ее собственное тело, еще совсем недавно благословенно молодое и подвижное, как у кролика, согнулось и заоченело от холода. Даже спешившись, она передвигалась с величайшим трудом, словно древняя старуха.

В горах все предметы выглядели неестественно. Земля была белее неба; озера оставались замерзшими и твердыми, лица путников светились, как у святых, и даже лошади, которым набили подковы с защитными шипами, походили на драконов.

Они останавливались в городках, которые на долгие месяцы бывали отрезаны от внешнего мира, чьи жители демонстрировали пугающие признаки кровосмешения, которые, по мнению Люссиеты, выглядели даже хуже, чем у обитателей маленьких островков венецианской лагуны. В одном из городков, например, у всех владельцев лавок наличествовал поросший волосами чудовищный зуб на шее. В других деревнях у очагов в домах остава-

лись лишь калеки и дурачки, а те, кто сохранил рассудок, трудились на крошечных клочках пригодной к возделыванию земли или стерегли овец.

Через озеро Люцерн они переправились на лодке, вспахивая неподвижную гладь воды, на которой дробились опрокинутые отражения сине-белых гор. Гроб Иоганна поставили на палубе стоймя, словно для того, чтобы сквозь свинец и дерево он любовался красотой окружающего пейзажа. На другом берегу озера его вновь приторочили к седлу лошади, и он продолжил путь в горизонтальном положении.

Чем дальше на север они продвигались, тем наглее и самоувереннее вели себя владельцы гостиниц. Когда караван ночью подходил к воротам какого-нибудь постоялого двора, хозяин уже не считал нужным сойти вниз и приветствовать их у дверей. В ответ на их стук и крики он осторожно выглядывал в окошко второго этажа, словно черепаха, высовывающая голову из панциря, а потом молча выслушивал их просьбы предоставить им ночлег. Если он не отказывал им, они могли войти. Если они спрашивали, где находится конюшня, он лишь тыкал в ту сторону пальцем.

Что касается комнат, то им неизменно отвечали, что самые лучшие зарезервированы для благородных господ, которые, как усиленно старался сделать вид очередной хозяин, являются его постоянными клиентами. Обычно в гостинице имелась всего одна общая комната, где им и приходилось переодеваться, умываться, сушить промокшую одежду и принимать пищу.

Владелец гостиницы начинал готовить еду только после того, как собирались на ночлег все его постояльцы. Венделин с женой сидели, обнявшись, в животах у них урчало от голода, сильного и постоянного. Иногда по баснословным ценам вечером им подавали дневные объедки.

Неудивительно, что некоторые гостиницы страдали от гнева своих гостей, и владельцы приказывали всем путешественникам немедленно сдать ножи по прибытии. Другие предлагали им простыни, которые стирались не чаще чем раз в полгода, вне зависимости от того, сколько людей спало на них. Третьи в качестве кроватей использовали высоченные шкафы, на которые приходилось взбираться по шатким лестницам. Чехлы тюфяков были скудно набиты грязными и вонючими перьями, которые никогда не меняли и не выбивали, чтобы избавиться от паразитов, и те оказывали гостям яростный и кусачий ночной прием.

* * *

Чем дальше на север мы забирались, тем сильнее в моем муже проступал северянин. У него снова появилась одеревенелая походка, словно он копировал толстых бургеров, чьи штаны, подтянутые чуть ли не до подмышек, обтягивали их огромные животы. В Венеции он научился ходить легко и естественно, так, будто плыл по воздуху. И мне не нравилось, что он забыл, как это делается.

Во Фрайбурге я опрокинула на него кружку с пивом, как и на себя, впрочем. Он вновь превратился в немца, то есть стал холоден, как лед, и даже не мог заставить себя посмотреть на меня.

— Ты сошла с ума? — негромко спросил он. По его лицу я видела, что он стесняется такой жены, как я. Жена-немка никогда бы не выкинула ничего подобного.

— Нет, всего лишь сглупила, — с вызовом ответила я, не в силах отвести взгляд от его замкнутого лица. Я думала, что пребывание в Венеции пошло ему на пользу. Он стал мягче и непосредственнее. А если теперь он останется в Германии, то вновь обретет суровость и чопорность.

Хозяйка гостиницы сжалась надо мной и увела на кухню, чтобы отчистить мои залитые пивом юбки. Она проявила доброту, пичкая меня маринованным лососем и консервами.

– Вы такая славная малышка, – сказала она мне по-немецки (эти слова я понимала, потому что муж часто говорил их мне, занимаясь со мной любовью).

Она не удержалась и взяла мое замерзшее лицо в свои теплые шершавые ладони, а потом провела похожими на тарантулов пальцами по моей груди и бедрам, затаив дыхание, словно хотела сказать: «Как может такая крошка быть взрослой и к тому же замужней женщиной?»

Вскоре на кухне появился мой муж, устыдившийся и опечаленный, чтобы увести меня с собой. Хозяйка с сожалением закудаhtала о чем-то и принялась оживленно жестикулировать.

– Что она говорит? – спросила я.

– Она говорит, и я с ней согласен, мол, ты такая восхитительная, что она могла бы съесть тебя целиком. И раньше она никогда не видела таких маленьких венецианок.

Это происшествие растопило лед, который образовался было между нами после того, как я пролила пиво, и я бросилась ему на шею. Он был полон раскаяния и нежен, как мать. Поэтому я утешила его, как могла, и между нами все снова стало хорошо.

Каждый вечер мы съедали столько, что это казалось мне невозможным. Еда стала нашей единственной защитой от холода.

Пища лежала у меня в животе так, словно умерла там. Наступил «сезон дичи», как выражаются местные жители. Это означало, что пришло время убивать и поедать все, что быстро бежит и чья кровь достаточно темна, чтобы сделать из нее подливу. И мы жевали мясо оленя, дикого гуся и кабана – все они были залиты сливками и буквально плавали в них. Суп-пюре с грибами, белый соус с капустой, жидкий заварной крем, пирог с кремом и ревенем – везде были сливки. Я умоляла дать мне рыбу, и мне принесли какую-то вонючую штуковину, залитую желтыми сливками. Речная и озерная рыба отличается от морской, заявила им я, и отодвинула в сторону блюдо со сливками, словно избалованный ребенок, чем очень расстроила своего мужа.

Он выглядел так, будто готов был взорваться. В душе у него кипели эмоции – гнев боролся с печалью, и печаль победила. Он отправился на конюшню, где нам разрешили сгрузить гроб с телом Иоганна, и оставался там некоторое время. По-моему, он разговаривал с братом о делах.

Иногда, по ночам, у меня больше не был сил терпеть все это. Желудок мой бунтовал от такой кормежки. У меня начались колики, и я сворачивалась клубком на постели. Когда он возвращался в комнату, я лежала к нему спиной. Он всегда прощал мне мое хныканье и гладил меня, пока я не засыпала. Если среди ночи я просыпалась и чувствовала себя лучше, то мы занимались тем, что я называла «горной любовью», то есть суеверным манером отгоняли от себя страхи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.